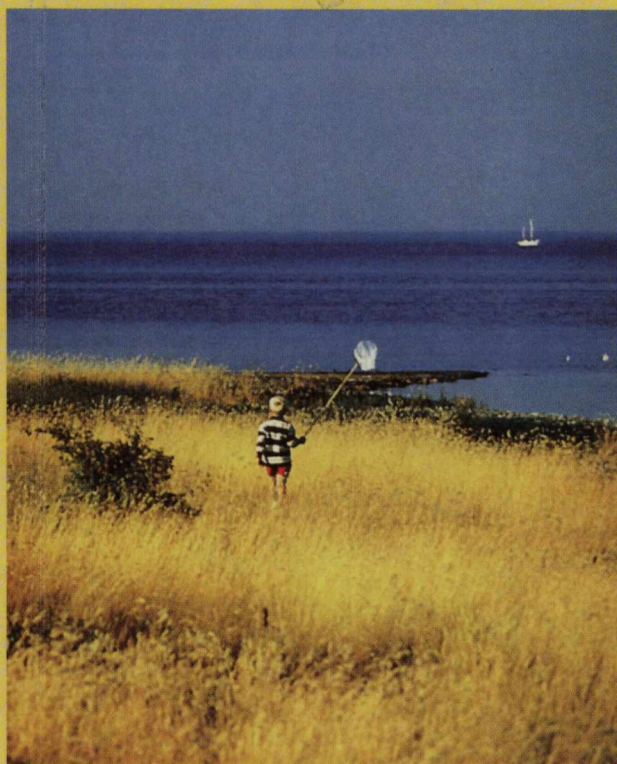


84(2P-Рус)6

Г 55



Олег Глушкин
ПУТИ ПАРОМОВ

ОЛЕГ ГЛУШКИН

ПУТИ ПАРОМОВ

Калининград

1999

ПУТИ ПАРОМОВ

Томительная ночь позади. Утром спускаешься по гранитным ступеням. Ивы сплели зеленый коридор над головой. Он обрывается у набережной, где в глянцевой воде мерно покачивается плавучий вокзал. Путешествующий от острова к острову ты так и не решился ни на что. Ты не можешь объяснить, куда хочешь плыть. Выведывающая твой путь белокурая девушка, бойко лепечущая на непонятном для тебя языке, смотрит с недоумением, она высовывается из окошка — говорящий манекен в ослепительной витрине. Ты показываешь палец. Неужели не понятно? Один палец. На первый отходящий паром один билет. Биль, биль? — настойчиво вопрошает та, что решает твою судьбу. Наконец ты понимаешь, — она хочет знать будешь ли ты оплачивать машину. Ты с машиной? Ноу. Это удивляет ее. Здесь не путешествуют без своей машины. Сойдешь с парома — и как ты будешь передвигаться дальше, как одолеешь дороги, опутывающие острова. Стучит аппарат, на табло компьютера скачут цифры. Билет не просто бумажка, это небольшая книжка. Это твой единственный документ. В нем вписана твоя новая фамилия. Ты можешь плыть куда угодно. Но ты уже догадался, что в конце любого маршрута тебя будут ждать те, кто посланы так, на всякий случай, для подстраховки. И они поставят точку, если ты не решишь все сам...

На табло загораются цифры. Звонкий голос что-то объявляет по трансляции. Переходной суставчатый рукав втянулся в раскрытые двери парома. Он поглощает немногочисленных пассажиров, бредущих молча, как на закание. Поднимаешься на шлюпочную палубу и смотришь на черную полосу воды, отделяющую паром от

берега. На берегу не спеша сбрасывают толстые пеньковые канаты. Словно ожившие змеи они скользят в клюзы. Паром медленно отходит от причала, делает круг и, встав на курс, пенит воду. Ты не знаешь номера своей каюты. Возможно, тебе и не дали места в каюте. Если нет машины, можешь обойтись и без каюты. Самый дешевый способ передвижения — кресло на верхней палубе. Сиди и смотри на простор вод, сливающихся с небом.

Море всегда притягивало тебя. Раствориться в море — это не самый худший вариант. Если ты всегда любил море, его просторы, его свободу и его бесконечные накаты волн, если оно было твоей мечтой, — то теперь ей дано исполниться, — ты сольешься с ним навсегда. Хорошо плыть насколько хватит сил, устремляясь к отодвигающемуся горизонту, к скалистым фиордам, тающим вдаль. Ощутить всем телом последние мгновения, осознать, что вода — тоже живое существо, впитавшее твои последние мысли, твою судорогу, твой предсмертный страх. Этого были лишены многие твои друзья, покинувшие мир. Их плач в криках чаек. Птицы окружили паром, повисли над палубами — посланцы из другого мира. На крыльях своих они несут души моряков, вознося их из могильной купели и жаждут выкричать все, что не успели те сказать при жизни. Крики раздирают сердце. Крики избавляют от боли. Вот так бы — встать на палубе и закричать во всю силу легких.

Молчание всегда тяжелее. Уже третьи сутки болтаешься между островами и молчишь. Никто не понимает твоего языка. Ты этого хотел. Они правильно рассчитали — те, для кого ты уже не существуешь. Уверенные в себе и в своей власти. Всему приходит свое время. Раньше им нужен был ученый, обязательно доктор наук, обязательно по экономике. И ты уверовал в миссию спасителя. Шум аукционов и бирж еще звучит в твоих ушах. Пока человек живет, он не может рассчитывать на покой. И только для ушедших душ, если они не переселились в крикливых чаек, открывается заветный мир молчания. Скользящие немые токи овевают их бестелесность. Лучи, пронизывающие мир, словно рельсы метро, втягивают в себя потоки тех, кто закончил свой путь. Движение необратимо. Манящий мерцающий свет, как награда, ожидает в конце туннеля. Жалобы и стоны бесполезны. Их такое множество, что присоединение еще одного ни о чем не говорят. Еще не развеялся запах дыма из труб

крематориев Освенцима и Дахау. Еще те предсмертные стоны не дошли до Всевышнего. Жди своего часа. После войны ты привык к длинным очередям. У каждого на ладони невидимыми чернилами написан свой номер. У тех, чья очередь впереди, номера были выколоты на теле.

Об этих номерах вспоминает твой случайный попутчик, пассажир парома, тучный поляк, на вид интеллигентный, но весь какой-то растрепанный, с распушенным узлом галстука. Он преследует тебя, как тень. Он догадался из какой ты страны. Он знает твой язык. Он был в Сибири. Вы можете понять друг друга, но не хотите. В его душе стоны Катыни. Он настойчиво предлагает выпить. Ты скрываешься от него на верхней палубе.

Поначалу казалось, так легко закончить счеты со всем, так просто исчезнуть здесь, в сердцевине морей. Прыжок за борт — и паром продолжит путь без тебя. Но днем, при ослепительном свете солнца, нельзя уйти незамеченным. Сразу будет объявлена тревога: человек за бортом. Паром затормозит свой путь. Спасательные круги полетят вслед тебе. Заскрипят тали, спуская на воду шлюпки. Ты причинишь столько беспокойства людям. Ты станешь поводом для всех пересудов и разговоров. Вокруг столько детей — как объяснишь им все происходящее. Ты не решился ничего сделать вчера, и сегодня опять стоишь и смотришь на пенящуюся у борта воду. Единственное, на что тебя хватило еще на первом пароме — это незаметно, тайком, выкинуть за борт портмоне с документами, паспорт с визой, ключи — легкий всплеск не привлек ничего внимания. Ты отрезал себе путь к возврату. Ты человек без фамилии, без гражданства. Ты ждешь наступления ночи. Так проходит еще один день, не ставший последним.

Ночью паром весь освещен огнями, мерцающие гирлянды повисли на мачтах, яркие глаза прожекторов устремлены вперед, по ходу движения, голубоватые огни дрожат в окнах ресторана на прогулочной палубе, яркие всполохи красных искр вспыхивают в зале на ночной дискотеке. Там мечутся тени, танцы на воде — что может быть романтичнее. Музыка несется над ночным морем — но это уже не для тебя.

Встать незаметно на леера невозможно, на всех палубах прогуливаются полуночники. Надо вскочить рывком на фальшборт — и вниз, в бурлящую темноту воды, но в ногах уже нет прежней прыти. Они не способны на прыжок. Надо перешагивать. Уже занесена одна

нога. И вдруг окрик из темноты — это появляется полупьяный поляк, в руках у него бокал. Он протягивает его тебе. Он говорит о том, что сегодня — полнолуние, что настала ночь всепрощения. Ты берешь бокал. Несколько глотков — и все теплеет внутри.

Теперь ты его должник. В полутемном баре громкая музыка не дает вам говорить. Ты избавлен от расспросов. Поляк засыпает, опрокинув голову на край стола. За окнами постепенно развеивается мрак ночи. Яркая луна становится бледным пятном.

В рассветной дымке на пути парома встает очередной остров. Длинная каменная гряда на горизонте постепенно растет. Начинаешь различать цвета — красные крыши домов, серые крепостные стены с желтыми башнями, зеленые парки. Этот остров, как выясняется, и есть конечная цель парома. Ты понимаешь это, когда все пассажиры тянутся к выходу. Объявления по судовому радио прошли мимо тебя. Набор непонятых звуков. Чужой мурлыкающий язык.

Не хочется возиться с багажом, да и нужен ли он тебе. Твоя сумка одиноко приткнулась к столику. Никто ее не возьмет. Она совершит еще несколько рейсов. Если нет документов, то вещи уже ничего не решают. Поток людей увлекает на берег. Ты сворачиваешь к билетным кассам. Надо опять брать билет. Никто не понимает тебя. Ты мечешься от одной кассы к другой. Через час выясняется, что никаких паромов сегодня не будет. Никуда. Ни на один остров. Тебя направляют в отель. Боятся, что ты останешься возле касс. Им пора закрываться. Ты пытаешься объяснить, что у тебя нет документов и тебя не поселят в отель. За долгие годы жизни в своей стране ты привык к паспортному режиму.

Здесь все проще. Ты поднимаешься по взгорью к большому светлому зданию, похожему на королевский дворец. В пустом вестибюле появляется улыбающаяся рыжеволосая женщина. Она искренне обрадована. Поток английских слов низвергается на тебя. Она говорит слишком быстро. Никаких документов не требуется. Тебе нужно только заплатить. Никому никакого дела нет до цели твоего приезда, ничего не надо заполнять. Почти все номера в отеле пустуют. Ты можешь выбрать любой. Ты желанный гость. Живи здесь хоть вечность, если есть валюта.

В просторном номере — добротный письменный стол, черное дерево отбрасывает блики, в углу затаился телевизор. Посередине

— широкая кровать. На столе раскрыт рекламный буклет — виды города, расписание паромов. И в расписании четко обозначено — сегодня есть рейс на тот остров, куда ты тщетно пытался купить билет. Можно еще успеть. Ты сбегашь вниз и мчишься напрямую через аккуратно подстриженные газоны от гостиницы к причалам. Кассы закрыты. Но выясняется, что есть еще одна пристань — от нее отходят паромы другой судоходной компании, ты мог бы успеть, если бы узнал это сразу. Теперь поздно. «Вот, смотрите, — показывает тебе местный матрос — вон там, почти на горизонте, видите точка. Это «Вестфалия». Ушла полчаса тому назад». Матрос довольно-таки неплохо изъясняется по-русски. Он сочувствует тебе. Не хочется с ним расставаться. Но его зовут, он на работе. Ему еще надо растащить по кнехтам причальные канаты. У него вздернутый пухлый нос и веснушки на лице. Он так похож на Кирилла. Бедный Кирилл. Лучше бы он был матросом. Теоретик, пишущий стихи. Попытки уехать на Запад кончились ничем, слишком долго он работал в номерном ящике, слишком многое знал. Работал на оборонку, теперь его работа никому не нужна. Он узнал об этом раньше всех, залез в ванну и резанул вены. Розовые припухлости на запястьях казались простыми волдырями. Абсолютно белое лицо и красная вода. Никто не хотел верить в такой конец. Ты стоишь и вглядываешься в матроса. Руки, покрытые белыми шрамами. Нет, на запястье, кажется, ничего. Впрочем, издали не разглядеть. За год перед смертью Кирилл хотел устроиться на траулер, визу не открыли. Все время он хотел быть матросом. «Эй, — окликаешь ты того, кто так похож на Кирилла, эй, я подожду тебя!» Но матроса уже нет, он так неожиданно исчез, будто провалился сквозь настил причала.

Восемь часов вечера. Как быстро промелькнул день. Ты еще ничего не ел. Во рту сухо, сейчас бы кружку холодного пива. Спросить, где его можно купить, не у кого. На твоём пути ни одного человека. Впечатление такое, что жители покинули город. Все взяли билеты на «Вестфалию» и отплыли. Мостовые блестят. Несмотря на отъезд, перед своим исходом жители успели их вымыть с мылом. Игрушечные дома, покинутые ими, взбираются на взгорье и тонут в сочной зелени садов. Серый утес, слева, повис над невидимым отсюда морем. В еще светлом небе плывет большая луна. Ты вспоминаешь — сегодня полнолуние. В такие ночи лучше не выходить из

дома — обычно говорила мать. Тебя уже ничего не страшит. И некому остерегать тебя. И мать, и отец — давно уже там, за этой пугающей призрачным светом луной...

Пустой город завораживает тишиной. Мостовые так чисты, будто по ним никто никогда не ходил и не ездил. В освещенных неоновыми лампами витринах магазинов все, что угодно, рядами — холодное пиво, испарина на стекле бутылок. Но все магазины закрыты. Двери всех домов тоже закрыты. Но вот впереди большое здание, надпись на фасаде буквами из меди — переводится легко — Народный дом. Стены заклеены яркими афишами. В широких окнах стерильный голубой свет и никакого движения внутри, ни одной даже самой мимолетной тени. Если заблудишься, не у кого будет спросить, как возвратиться в отель...

И вот, наконец, на взгорье перед тобой обитель с открытыми дверями. Старинные резные двери окованы почерневшей медью. Тыходишь в них — и сразу попадаешь в царство зажженных свечей. Это костел. Высокие своды, деревянные отполированные временем сиденья, алтарь — и в нем двенадцать апостолов выстроились перед тобой. В костеле совершенно пусто, ты зажигаешь свечи за тех, кого уже нет. Ты сбился со счета. Свечей не хватает. В горле сухой жесткий ком.

Позади тебя строгое деревянное распятие парит в воздухе. Ты поворачиваешься и видишь страдающее лицо. На стойке у переднего сиденья лежит толстая книга — Библия. Смотришь в раскрытую страницу. Значки незнакомых букв. И вдруг в начертаниях слов проступает смысл нетленного текста. Книга судеб едина для всех. Яростные проповеди пророков, кровь и озарения, история падений и взлетов, тяжкий путь к истине. Надо быть распятым, чтобы тебя поняли, претерпеть муки ради других, ради правды. Можешь сидеть в этом соборе все оставшиеся дни. Сюда никто не войдет из тех, кто захочет преследовать тебя. А можешь взойти на утес, он как раз за костелом, вскарабкаться по камням на самую вершину... Время падения, длящееся мгновение, растянется на всю земную жизнь, она повторится внезапно вырванными кадрами, в которых ничего нельзя уже изменить...

Ты выходишь из костела в стущающуюся темноту чужого города. Ничего нельзя изменить. Ты ведь захотел тогда славы, признайся. Было все — и кафедра, и ученики, и признание. Захотелось

стать спасителем. Давно разработанные матрицы развития так легко могли быть использованы. Взлет экономики. Локальные зоны. Разрешено все, что не запрещено. Ты задумал накормить народ тремя хлебами. А за твоей спиной спокойно гнали лес и янтарь по дорогам Европы. Им нужна была просто фигура для прикрытия. Авторитет. Слово, опошленное блатным его значением. У всех, у них, был в ходу воровской язык. Язык, который ненавидит. Они и тебя пытались приучить «ботать по фене». Никто не хотел вникать в формулы и расчеты. Зато они точно знали, что можно присвоить и наизусть помнили свои счета в бельгийском банке. Ты пытался делать не то, что они хотели. Тогда поняли, догадались, что ты не желаешь быть директором «Фунтом». И на очередном банкете, навис над тобой тот, который был до времени в тени и казался простачком, сжал ключицу до хруста, обдал зловонным запахом гниющих зубов и прошипел: «Забудь все профессор и исчезни!» Рушащаяся пирамида была беспощадна. Исполнители должны были погибнуть под обломками. Вот и вся свобода. Матрица не имеет положительного решения...

Сухость и жажда раздирают глотку. Назад — в гостиницу. Только там можно наверное купить воды или пива. Все эти страхи и глупые размышления рождены жаждой. Перестань перетряхивать хламье из прошлого. Улыбнись, видишь — рыжекудрая хозяйка ждет тебя. Она знала, что все в городе закрыто, она припасла специально для тебя две бутылки пива. Она протягивает их, ты догадался, что ключ от номера может служить открывашкой. Ты поглощаешь пиво прямо здесь, в вестибюле. Тело оживает, наполняясь влагой. Вода умеет гасить жизнь, но умеет и продлевать ее.

Возвращаешь пустые бутылки. Ваши руки на мгновение соприкасаются. У нее теплая бархатистая кожа. Твои пальцы скользят по ее руке. Она по-своему истолковывает соприкосновения. И когда ты уже собрался подняться в свой номер, протягивает глянецвый журнал. Раскрываешь его и сразу отталкиваешь назад. Даже смотреть неудобно, кощунственно. Но взгляд уже невольно схватил изображенное и отпечатал в памяти. Женские жаждущие губы, похотливые улыбки, обнаженные тела, вывернутые, доступные, порочные — под каждым снимком номер телефона. Одна из них удивительно похожа на Таю из железнодорожной школы. Выставленный отто-

пыренный зад и при этом застенчивый взгляд. Глаза с поволокой. У Таи тоже был такой взгляд. Всегда стеснялась. Убегала с пляжа, за-видев тебя. Соединила вода. Первые объятия были в воде. Она при-творилась, что тонет, ухватилась цепко за плечи, обхватила бедра ногами, счастливое детское узнавание друг друга.

До сих пор ты не можешь понять — почему она уехала в дру-гой город. Там получила свой дачный участок. Всем начали давать землю. Дождалась. Она всегда была слишком задиристой, всем лю-била делать замечания, боролась за правду. Это ее время пришло. Можно стало жить без оглядки. Она не захотела возвращаться. Сде-лала все, чтобы соединить тебя со своей двоюродной сестрой. Они были так похожи, что ты быстро сдался. Жалеешь ли об этом? Вряд ли. Заменявшая Таю была терпелива. До последнего момента дер-жалась. И только в этом году не выдержала, скрылась у матери. Ждет, чем все кончится. О Тае ты слишком быстро забыл. Были годы эй-фории. Только что создали биржу и ты возглавил совет директоров. Шумные банкеты, обилие тостов, фуршеты. На один из банкетов Тая обещала приехать. Но потом — молчание. Ты не успел на ее похороны. Нелепая, страшная смерть. Какие-то бомжи взломали дверь на ее даче, играли там в карты. Она пришла, застала их, на-кричала, выгнала. А ночью они пришли. Известию о той трагедии не хотелось верить. Вину всегда надо принимать на себя. Если бы не отпустил, этого не случилось бы. А вдруг все это было выдуманно. Захотела порвать окончательно, чтобы не искал, не домогался. На-писала сестре — выручи, скажи, что меня нет. Дачу могла поджечь сама. И вот теперь здесь, на островах, предлагает себя путеше-ствующим. Надо только набрать указанный номер.

— Я-а, я-а, — кивает хозяйка отеля, рыжая бестия, а может быть и не хозяйка, все разъехались — оставили дежурить, дежурить и соблазнять, — Бон Вумен, Бон Вумен, телефонирен...

Остальные слова не понятны. Пробеешь объяснить, что твои женщины далеко отсюда, что никогда не платил за это...

— Bravo, bravo! — восклицает рыжеволосая и опускает глаза.

Ты уходишь наверх. Садись за стол, листаешь рекламные буклеты. В папку для гостей вложены конверты, чистые листы бу-маги. Можешь написать завещание, можешь сочинить письмо. Ког-да-то в студенческие годы ты любил писать и даже сочинил нечто

вроде романа — глупая трата времени. В папке карта, разворачиваешь ее и садишься в удобное мягкое кресло. Включаешь торшер. Можешь продолжить путешествие. Вверху, на севере, пространство вод изрезано зубцами фиордов, на юге, внизу, заполнена пятнами островов. На каждом острове можно воссоздать свой Эдем. Причуды воображения могут подменить жизнь. Острова можно заселить теми, кого уже нет. А нужно ли их возвращать к жизни. Их, приблизивших падение империи? Оживить, чтобы отдать во власть мафии. Ведь все они были твоими друзьями и захотят вступиться за тебя. Эдем — это утопия. А утопии всегда опасны. Сон разума рождает чудовищ. Захочешь равенства — получишь тех же паханов, которые будут распределять это равенство. Быстро присвоят райские сады, красные директора, большевички приобретут твой Эдем. Ни ты, ни твои друзья, покинувшие землю, не захотите иметь с ними дело. Хватит.

Нет возврата твоим друзьям. Ты давно уже их оплакал. Они печально взирают на тебя с вышины небес.

И тот, кто женился на девушке, которую ты любил, потому что хотел стать тобой; сердце его остановилось на пляже, переполненное солнцем. И другой, которого проткнули лезвиями. Кому-то пришлось не по вкусу его иудейская улыбка пересмешника. Кровь его пропитала землю под Невелем. И тот, кто захлебнулся в собственной ванне, кто был всегда пьян и даже смерти своей не почувствовал. В те годы все пили, и ты — тоже. Казалось, выхода нет — и обречены, замурованы, закрыты железным занавесом. Пили, чтобы окончательно не превратиться в рабов. Не думали, что придет свобода. Были слишком наивны. Те, кто объявил свободу, быстро сообразили, для чего она нужна. Стало легче воровать. Вот и создали фирмы, биржи, пирамиды. Поверил ты, поверил сначала и Кирилл. И был еще один — молодой кандидат наук, обладающий необыкновенной памятью, все данные, все номера счетов, все тайны сейфов вмещались в него. Сердце его разорвалось в полете. Внуки железного Феликса сбросили своего казначея с двадцать четвертого этажа.

И еще смотрит вниз сейчас тот, кто был лучшим другом, с которым столько переговорено, столько пройдено. Родственная душа. Математик от Бога. Талант, сгубленный огненной водой, сжигающей его почки. Спирт лаборатория получала без всяких проблем.

Спирт не всегда был очищен. Теперь друг этот уже ничем не сможет помочь. В небесах друзей больше, чем здесь, на земле. Там все, кто учил тебя, там те, кто дали тебе жизнь — родители.

Они бессильны, думаешь ты, они не могут воздействовать на оставшихся. Растворенные в общем потоке лучей, в лучшем случае, они просто незримые судьи.

Тебе же дано тело — его ощущения, радости и боли, восторги любви и гнусности падения. Ты насыщаешься или томишься от голода. Ты ищешь признания у себе подобных. Ты хочешь их похвал и сам не замечаешь, как тебя грабят. Они, твои коллеги, привыкли воровать. Раньше у государства, теперь у самих себя. Тебе дано обрести себя в другой ипостаси. Доселе случайные встречи сплетали путь твоей жизни. Он гибелен и для тебя, и для других. Ты теряешь друзей. Чтобы продолжить твою жизнь, прекращают свое существование рыбы, животные, растения. Ты не смог в суете и спешке отпущенных тебе лет остановиться и пасть на колени в раскаянии. Покаяние чуждо стране, где тебя взрастили. В стране, которая в отличии от этих скалистых островов обширна и непредсказуема. Ты давно слился с ней. Страна, где любой случайный спутник может открыть тебе свою душу, может стать другом, а может и возненавидеть и броситься с кулаками. Совершить убийство и плакать над слезой ребенка. Может лобызать портреты пахана, уничтожившего миллионы. И может так распрямить спину, что все эти сподвижники пахана задергаются от страха, как жалкие черви, нанизываемые на острие крючка. Никому не дано до конца понять твою страну.

Чтобы почувствовать ее лучше, надо из нее уехать. Очутиться в городе, где никто не понимает твой язык, сидеть ночью в гостинице над абсолютно белым листом и осознавать, что слова давно уже не подвластны тебе, что смысл их заменили цифры, хранящиеся в памяти, как на дискетах. Как сообщить свои мысли тем, кто ушел в иной мир, как получить от них ответный сигнал? Зачем метаться среди островов, зачем оттягивать то, что должно произойти. Проще всего без метаний, сразу соединиться с ними, или как писали библейские пророки — приобщиться к народу своему. Казалось, в миг, когда освободился от документов и море беззвучно приняло их, так легко и самому повторить этот путь. И все же, признайся, ты не можешь избавиться от глупого инстинкта самосохранения. Животный

страх живет в глубине твоей души. Не удивляйся, он присущ любому существу. Помнишь, как наловили раков. Любитель их — коммерческий директор, одаренный цепкой хваткой во всем, ловко вытряхивал их из бредня. Набили полное ведро. Черная вздрагивающая масса казалась единым существом. Потом обнаружили особи. Когда мыли их в раковине, каждый норовил уцепиться за поварешку, за руку, за кран — только бы вылезти, только бы выкарабкаться из таза. А когда вскипела вода в большом котле, и туда бросили первую горсть — все остальные словно замерли. Уже не цеплялись, уже не рвались наружу из холодной воды в тазу. Ибо был им сигнал о страшной смерти от тех, кто опрокинутый в кипяток вмиг становился красным. От тех первых, кто шел на гибель, как на освобождение. Хорошо быть первым. Не знать ни о чем и умирать без раздумий. Страшна не смерть, а ее ожидание...

Оно, это ожидание, длится уже более года, с тех пор, как понял, что тебя подставили, что твое слово, твои формулы уже никому не нужны. Под твое имя просто выкачивали деньги, и вина за все это теперь только на тебе.

Ты распахиваешь окно, ночная прохлада проникает в комнату, свет луны стал еще ярче. Можно не включать лампу, все видно и так. Читать трудно, но можно рассматривать карты. Архипелаг островов и причудливые острые, как зубья пилы, выступы скалистого берега. Ты уже пересек острова с юга на север — потом опять вниз, и наконец два последних парома — прошли поперек, совершенно равные концы, будто крестился — от одного острова к другому. Путь твой — образовал крест на голубом пространстве карты. Уже нет никакого смысла рваться на тот далекий остров, где возможно тебя ожидает западня. Прошло достаточно времени, чтобы понять, что там ты уже не появишься. Ты начертил крест в пространстве. Ты надеешься, что его увидели сверху. Теперь надо просто набраться терпения и ждать ответа. Пришлют тебе своего Харона — перевозчика до врат Аида, и тогда, для уплаты за перевоз, ты положишь в рот монету, так, кажется, делали твои далекие предки. Возможно, теперь лодки не в ходу, их не хватает. И Харон управляет паромами. Но ведь паромы ходят туда и обратно. Никогда не теряй надежды. Это твоя привычка — диктовать условия. Забудь ее. И никогда не раздумывай слишком долго...

Помнишь, перед отъездом — последняя попытка твоих так называемых коллег найти с тобой общий язык. Совместный отдых на природе. На двух машинах помчались к морю, не к тем пляжам, что забиты людьми, а в пустынную заповедную зону на косу. В одной машине ты и тот, который фактически теперь управлял тем, что осталось от биржи, ты сел на заднее сидение, чтобы не ощущать гнилостный запах из его вечно улыбающегося рта, тебе хотелось молчания, а он говорил без передышки — хотел заставить тебя поверить, что вновь созданный банк сохранил все деньги. Во второй машине ехал назначенный директором этого банка — главный авторитет. И с ним две девицы лет шестнадцати. «Видишь, каких дочек вырастил!» — сказал новоявленный директор, когда рассаживались по машинам. Дочки эти тоже были знаком к примирению. Если бы хотели расправиться, то зачем тогда брать с собой этих очаровательных прелестниц. Коса была всегда твоим любимым местом на земле. Так много было связано с этими первозданными песками, с высокими дюнами, с квадратами переплетений на них — вроде игрушечных заборчиков, охраняющих пески. Увы, существовала вечная угроза передвижения песчаных гор. В прошлом были и песчаные бури и занесенные песком деревни. В твоей юности об этом мало задумывались, когда со смехом и криками катились с песчаных вершин дюн в залив. Тогда не остерегались ничего, даже ждали ветра. Ждали высоких волн, чтобы выскочить на берег моря, поймать момент, когда накатывает масса воды, поймать большую волну, дать ей схватить тебя, дать волочь гибельно навстречу неизбежности, а потом вырваться в последний момент. Ощутить себя победителем, с горящим телом выскочить на берег и упасть на песок. Никакой усталости. Бежать, не останавливаясь вверх по звенящему песку.

Теперь это делали дочки банкира. Длинноногие загорелые нимфы, мелькающие розовыми пятками. Две красавицы с хитроватыми, полными искринок глазами. Никто не заставлял тебя бежать за ними. Мог остаться в ложбине, раскладывать костер, готовя шашлыки. А теперь вот задыхался, пытаюсь не отставать от девиц. Подъем казался бесконечным, пески волнообразно тянулись от леса к прозрачному дрожащему от зноя небу. Песчинки также звенели под ногами, также были первозданны и чисты, как в годы твоей юности. И сейчас тебе тоже хотелось легко бежать вверх, но ты вдруг почув-

ствовал, что ноги тяжелеют и тебе не взобраться на вершину дюны, не съехать по ее склону к заливу. Сжало все внутри, и ты по инерции еще передвинулся на несколько шагов и застыл, наблюдая, как растворяются в мареве тонкие фигурки девиц.

И оттуда — от дюн, от залива возвращались к лесу уже свершившие свой поход, цепочка людей, обвешанных фотоаппаратами, среди них мелькали знакомые лица. Они кивали тебе, что-то говорили, ты не мог расслышать, в голове стоял гул, они улыбались, подмигивали, это были аспиранты с твоей кафедры, с бывшей твоей кафедры. Что-то недоброе было в их взглядах. Ты догадался: они осуждали тебя — задыхающегося, они увидели в тебе похотливого сатира, не рассчитавшего свои силы в погоне за юными прекрасными созданиями.

— Это дочки моего товарища, это дочки банкира, — пытался объяснить ты. В ответ недоверчивые улыбки, кто-то навел фотоаппарат, ты заслонился рукой...

У костра сидели долго, пили вино, ели сочные шашлыки. И девицы хохотали без умолка. Потом поставили палатку, и банкир сказал извиняющимся тоном: — Старик, их только двое, надо было тебе самому позаботиться. Но если хочешь, могу уступить, а то давай, на пару...

Ты расхохотался, смеялся над собой — сколько можно позволять надувать тебя, всему ты верил и веришь. Ничего они уже от тебя не хотели, все у них было сговорено заранее...

Ты успел на последний автобус. А ведь уже тогда, на косе, мог бы высказать им все начистоту. У тебя уже были такие документы и сведения — против которых они были бессильны. Ты всегда слишком долго раздумывал прежде чем совершить действие. Скандал ведь мог быть сочтен за обиду — не досталось девицы — вот и вспыхнул...

В отношениях с женщинами ты всегда чувствовал себя виноватым. Начиная с той, самой первой, со школьной любви. В том, что ее постиг страшный конец, есть и твоя вина. Почему не оставил ее, почему дал ей уехать, обрек на одиночество, не отвечал на ее письма, в них ведь был крик о помощи. Она задыхалась в провинциальном городке, в школе, где дебилы не вынимали руки из карманов и гнусно сопели на ее уроках. Потом один из них подрос и обрушил топор на голову своей несбывшейся мечте и сжег ее вместе с дачей.

И вот теперь здесь, в рекламном буклете, она предлагает свои услуги, открывая взору самые интимные позы. Теперь она доступна каждому у кого есть деньги. Конечно, это она. Не могут родиться на земле столь похожие друг на друга женщины. Только в том случае это возможно, если здесь, на островах, совершенно другой мир. Здесь чистилище. Затаились, ждут того, что не сбылось, все, кто отринут и смят прежней жизнью. Всем воздастся.

Тогда почему же медлишь. Спустишь вниз, потребуешь Вомен. Набери ее номер и, если она не занята... Конечно, нет, она ждет, ведь в городе почти никого не осталось. Но почему она должна остаться? Она ведь тоже могла сесть на паром с названием «Вестфалия», там, на пароме, так легко найти клиента, там есть отдельные каюты. Легкое покачивание на волнах возбуждает одиноких путешественников. В каютах-люкс невозможно и глупо засыпать одному на просторном ложе...

Ты высовываешься в окно. Пронзительный свет луны вырывает из темноты твою седеющую голову. Ветер перебирает листву, и тени деревьев со всех сторон набегают на стены отеля. Никого ты не решаешься искать. Ты хочешь, чтобы она сама тебя позвала. Этого не будет. Полнолуние совсем не подходящее время для любовных утех. Любви больше подходит мерцающий свет звезд. Сегодня их затмила луна. Приходится почти всем туловищем вылезти из окна, чтобы удерживаясь за створки, разглядеть на небе дрожащие точки. Окна выходят на север. Но невозможно найти знакомые очертания Медведицы. Странное небо, как будто попал в южное полушарие. Конечно — вот же видится звездный крест, только его и можно различить. Холодок пробегает по телу...

Прохладная ночь проникла в гостиничный номер. Пора закрыть окно. Но тогда ты отгородишься от пространства и никто уже не сможет ответить тебе. Пусть будет открыто. Натягиваешь на себя одеяло. Веки давно уже отяжелели и ты сразу проваливаешься в темное небытие сна. Тебе снится, что душа твоя покинула тело и ты наблюдаешь себя самого. Ты видишь человека, сидящего в кресле в номере гостиницы и читающего газеты. Прочитанные листы летят на пол. Но тотчас, возникающий совершенно неслышно вислоухий почтальон подносит новые. Остро пахнет типографской краской, похоже эти газеты доставляются моментально, прямо из типографии. Человек, читающий газеты, никак не реагирует на те сообще-

199069-1

ния, что бросаются в глаза. Ты тоже их читаешь. Мелькают твои портреты, фамилия в черной рамке, сообщается о времени панихиды. Все так, будто умер человек, много значивший в этом мире. Рой подписей. Ты и сам не раз подписывал такие некрологи. О мертвых или ничего, или только возвышенное. И все-таки любопытно читать, что еще можно выдумать о себе. Иконописный портрет слагается из давно забытых заслуг. Твои матрицы не такое уж открытие, докторская добыта долгим трудом, уход в коммерцию — это не подвиг, это скорее предательство. Подписи таких людей, коих ты и в лицо не знаешь, просто в данный момент они занимают важное положение на иерархической лестнице. Они перечисляют твои награды. Бронзулетки из прошлого. Была такая эпоха, когда медали раздавали почти ежегодно. Теперь их можно нести на подушечках. Медали они найдут в тумбочке. Но откуда они возьмут тело. Впрочем, всегда можно найти в морге. Всякий раз там лежат неопознанные, невостребованные. Если не всматриваться в лица — все люди похожи друг на друга. Можно намалевать подходящие глаза и губы, призвать косметологов — и все в порядке.

Так рассуждает твоя душа во сне, а тело медленно остывает и газета выпадает из рук. Но ты уже независим от тела, ты продолжаешь читать газету, лежащую на полу. И вдруг тебя словно током ударяет короткое сообщение. В далекой Молдавии — автомобильная катастрофа, среди пассажиров «фиата» фамилия и инициалы той, с которой ты прожил большую часть своей жизни. Может быть, это просто совпадение — думаешь ты, но, увы, нет, ибо дальше разъясняется, что это твоя бывшая жена. Бывшая — эпитет не для нее. Даже не выдержав, даже устав от всего и уехав к матери, она продолжала существовать в твоей жизни и сам факт ее существования сохранял надежду на возврат к тому времени, когда тебе не нужно было обустривать страну, когда тебе ничего не нужно было кроме ее и друзей. И вот теперь человек, который любил тебя и которого так любил ты, не существует. Весть об этом поражает сильнее, чем собственные некрологи. А вот и еще — более подробное сообщение — оказывается она была не пассажиркой, напротив, эта она сидела за рулем в «фиате», который выскочил на встречную полосу и врезался в бензовоз, есть даже снимок — пылающий факел на дороге. И ты теперь отчетливо осознаешь, что ее смерть последовала

сразу за твоей — это случилось, судя по датам на газетах, через два дня после публикации некрологов на твою персону. Значит, она не захотела жить на этой земле без тебя, и ты — косвенный виновник ее смерти. Если бы ты не скрылся, не стал метаться среди островов — никто не посмел бы заживо хоронить тебя. А теперь, те, кто хотел, чтобы ты исчез, зафиксировали твой уход. Она прочла — и, возможно, гнала машину на вокзал или в аэропорт, и глаза ее были затуманены слезами. Все-таки семь лет вместе, худо или хорошо, но успели срастись души, жить без тебя она не хотела. У нее не оставалось надежды. Ты, а вернее, твоя душа — понимает весь ужас происшедшего. И эта душа врывается в безжизненное, вяло осевшее в кресле, тело. Пот выступает на твоем лбу, и ты просыпаешься от резкого трезвона телефонного аппарата.

Голос в трубке так знаком, так привычен, но невозможно разобрать слова, в них нет никакого смысла — чужой мурлыкающий язык и наконецты разбираешь только одно слово: факен, факен...

Международное нелепое слово, столь чуждое для обладательницы родного голоса. Плевать на это слово. Лишь бы не умолкал голос. Голос, стирающий бред безумного сна.

— Говори, говори, не прерывайся! — кричишь ты.

И радость заполняет тебя — сразу спала тяжесть, стало так легко внутри, будто качнули в тебя освежающий озон. Ты легкий, как дирижабль. Сейчас ты сделаешь движение руками и поплывешь в ночи навстречу голосу. И никакой автокатастрофы. Никаких факелов на дороге. Ты не виновен. Она жива, она нашла тебя.

Теперь она притворяется, предлагает себя на мурлыкающем островном языке. Она думает, что ты легко клюнешь на приманку. Она проверяет тебя. Всегда в жизни она подлавливала тебя. Чтобы застать врасплох, подстроила этот сон и некрологи, и сообщение о своей гибели. Она умела вторгаться даже в сны. Приставала всегда — расскажи, что ты видел, почему стонал. Ударили. Не верю — это были стоны сладострастия, расскажи, как все было, с кем ты был. И добившись своего, надолго замолкала. Мучила этим своим молчанием, этим презрением к тебе, слабовольному, не властному над своими снами. Ведь сны это тоже продолжение жизни. Хотела, чтобы принадлежал ей и в снах. Отстаивала свое единоличное право на тебя. Всю жизнь носила на лице маску, изображая вычитанную в

детстве из книг принцессу, лишённую трона, обиженную и униженную. И в то же время была предана тебе, верила только в тебя. И согласилась даже на то, чтобы вложить все ваши сбережения в фондовую биржу. А там проглотили и не заметили. Какая отдача? Какие прибыли? Растащили вмиг по карманам. Ни словом не попрекнула. А потом — резко так все изменила — и исчезла, к маме рванулась, разуверилась во всем... Но ведь сейчас, когда все поставлено на карту, когда решается — жизнь или смерть, сейчас примчалась...

— Ты понимаешь, как все серьезно! — кричишь ты в трубку.
— Прекрати игру! Мы на волосок от гибели!

— Телефонирен мих, — залепетал голос, — номер цвай унд цванциг, цвай унд цванциг...

— Да прекрати же! **Я** ведь все равно узнал тебя! — кричишь ты. Но в трубке уже звучат длинные гудки. Все — связь оборвалась.

Что она говорила? Какой-то номер — двадцать два, двадцать два. Ты еще не включил свет, цифры на диске не различить, и луна скрылась за крышей здания. И нет ее пронзительного сияния, которое кружило голову и заставляло стыть кровь. В темноте никак не найти выключатель. А может быть его и вовсе нет на стенах. Но ведь есть настольная лампа, есть торшер — куда они подевались. Легче растворить дверь. Коридор заполнен мягким зеленоватым светом. Теперь можно все разглядеть. Конечно, никакого выключателя на стенах нет, зато рядом с телефоном настольная лампа. Яркий свет ее вырывает из темноты карту островов — крестом обозначен путь паромов. Должны были это заметить. Возможно спасение в этом номере, состоящем из четырех двоек. Ты набираешь их — никаких гудков. Или это обман, или ее очередная выдумка. А скорее всего надо набрать перед номером девятку — обычно она дает выход в город, но и с девяткой ничего не получается. Значит, есть еще цифра — для отеля, у каждого отеля свои цифры.

Ты поспешно спускаешься вниз по деревянной лестнице. В вестибюле — пустота. Никто не охраняет вход в отель. Это не в твоей стране, где для прохода в гостиницу нужен пропуск. Кому охота рваться сюда ночью, здесь и днем в городе почти нет людей. Ты садишься в глубокое кресло, ноги твои не в силах удерживать груз тела. Глаза слипаются. Сердце тяжело бухает. Это стресс, надо успокоиться. Ты же всегда, в любых ситуациях оставался спокойным.

И вот наконец распахивается дверь дежурной — в проеме про-
является золотокудрая красавица. Тело ее пышет жаром, ямочки у
локтей притягивают взгляд, мягкая улыбка говорит о готовности сде-
лать все для гостя отеля. Она мягко опускает руку на твое плечо.
Как ей объяснить, что тебе не нужны ее объятия, как не обидеть ее.
Ты пытаешься рассказать о твоей бывшей жене, о ее причудах, о
телефонном звонке.

— Телефонирен, телефонирен, — понимающе кивает дежур-
ная. И протягивает тебе все тот же красочный каталог. Он раскрыт
на том месте, где изображена женщина так похожая на твою школь-
ную пассию. Возможно это она и есть. Ее не убили на даче, она
просто уехала на заработки. Но ведь возраст, соображаешь ты. Это
скорее всего ее дочка. А может быть, и твоя тоже. Тогда ее надо
выручить. Надо срочно увезти отсюда, с этих затерянных островов.
Номер телефона под ее снимком тоже сплошные двойки, но есть
еще и семерка. А если жена воспользовалась ее телефоном. Ведь
они же двоюродные сестры. Сердце твое сжимается так, что не
продохнуть.

И в этот момент ты слышишь, как начинают бить колокола. Для
созыва на утреннюю службу еще рано, да и бьют они подряд, будто
скликают на пожар. Дежурная бросается к входной двери, распахива-
ет ее. Бой колоколов заполняет все вокруг. Ты пытаешься что-то спро-
сить. Но твой голос уже не слышен. Вы выскакиваете на улицу.

В рассветных сумерках скользят мимо вас беззвучные тени.
Откуда столько людей? Поток устремляется к причалам, вы пытае-
тесь остановить кого-либо, чтобы узнать что же случилось. Нако-
нец, один из них хватая за руку женщину из отеля и что-то кричит.
Так это же тот матрос, что так похож на Кирилла. Теперь вы бежите
втроем. Из их слов понятно только одно: Вестфалия. Это название
парома, на который ты опоздал. Бой колоколов становится все гром-
че, все тревожнее. Вы выбегаете на набережную. Плотный слой ту-
мана повис над морем. Люди, натываясь на ограждения, останавли-
ваются. Слышны чьи-то рыдания. Шумные всхлипы. Будто это и не
человек, а огромный кит, выброшенный прибоем и хватающий ши-
роким ртом воздух. Наконец всхлипы прекращаются и на смену им
приходит пронзительный плач ребенка. Со скрипом раскрываются
ворота, ведущие в порт. Люди в форме отбирают из толпы несколь-

ко человек, ты и матрос в их числе, вас проталкивают вперед, туда к набережной, где прямо на пирсе ты замечаешь белые холмики. Смолкают колокола. В тишине еще более отчетливым и пронизывающим становится плач ребенка. Как призрачно и хрупко все в это туманное утро. Ты хочешь, чтобы это было сном. Чтобы сон прекратился. Но тебя подталкивают к белым холмикам. Это покрытые простынями трупы. Матрос пытается объяснить, что хотят от тебя люди в голубой форме. Он не может вспомнить нужного слова. Знать, говорит он, и еще добавляет — знать, кто есть. Оpoznать, понимаешь ты. Все, пришедшие на пирс, соединены общим горем. Люди не успели привести себя в порядок. Женщины в халатах, волосы растрепаны, мужчины в майках. Несмотря на прохладное утро — повсюду острый запах пота. Ты тоже вытираешь лоб, холодные как роса капли. Рука матроса на твоём плече, ты видишь совершенно отчетливо розовую припухлость на его запястье. Кирилл, окликаешь ты его. Он пожимает плечами. Он говорит, что все надо узнать. Почему это требуется сделать тебе — ведь ты, наверное, единственный среди этих людей, кто почти ничего не знает.

Матрос с трудом подбирает русские слова. Не из слов, а скорее из его жестов, ты понимаешь, что случилось несчастье, что затонул паром «Вестфалия». Тот самый паром, на который ты не успел. Ты обязан был на него попасть. Это было бы самым желанным для тебя выходом. Но пострадали другие ни в чем неповинные люди. Предчувствовали ли они свою судьбу. Понимали ли, как опасно отправляться в путешествие в полнолуние. Паром вмещает сотни пассажиров. Здесь же, на набережной не более десяти. Где остальные? Неужели их всех поглотили ночные воды? Сентябрь, вода уже успела остыть после летних дней. Умирают не от того, что не могут выплыть. Есть нагрудники — они удержат на воде. Умирают от страха или переохлаждения. Страх за собственную жизнь всегда губителен, он отнимает разум. Для того же, кто ищет смерти, даже холодная вода — манящий и не самый страшный исход. Ты мог быть там, на пароме. Кому нужно было оберегать тебя и отнимать эту возможность обретения последней свободы? Но нет, оказывается, всё не в твоей воле. В этих водах уже тонул когда-то паром — сотни жизней унесла та катастрофа. И теперь были готовы все — и команда, и пассажиры парома к борьбе за жизнь. Об этом рассказывает один из

полицейских, это знакомый матроса. Нет, нет, люди не погибли, люди сели в шлюпку. Почему в одну? Был сильный крен, объясняет матрос, пассажиров было мало, они поместились в эту единственную шлюпку, которую успели спустить на воду. Набилась полная шлюпка. Их ждут. А эти под простынями? Их выловили катера, они не утонули, потому что были в нагрудниках. Но они мертвы. Слишком холодной была вода. Вас по очереди подводят к ним. Открывают простыни. Это не умиротворенные лица мертвецов. Ужас сковал их черты. Последние длящиеся крики отчаяния скривили рты. Ты не хочешь вглядываться в лица. Ты понимаешь, что тебя не случайно избрали из толпы. Ты должен кого-то опознать. А вдруг — это она. Ведь сон твой был в то время, когда тонул паром, когда крики отчаяния носились над морем. Тебе подавался сигнал. Ты должен был сразу же осознать, что грозит ей. Она не раз спасала тебя в жизни, а ты единственный раз не смог ничего сделать, когда пришел твой черед.

И вот полицейский с силой тянет тебя за руку. Открывается одна простыня за другой. Смотри внимательно, говорит матрос. Нет, это все мужчины, большинство из них почти старики. Перед одним из них тебя останавливают. Он моложе всех. Ты невольно вздрагиваешь. Это же твое лицо, Черты, искривленные ужасом. Лежащий похож на ту фотографию, где запечатлен ты играющий в регби за институтскую команду. До сих пор в тебе живет та боль, которую пришлось преодолеть, у тебя было сломано ребро, но заменить тебя было нечем. Там на фотографии у тебя также оскален рот, ты приготовился принять удар на себя.

Кто он, лежащий здесь на пирсе, кто он — это допытываются у тебя. Наме. Имя, фамилия. Брудер? Брат. Да, соглашаешься ты. Теперь надо заплакать, закричать. Но все сковало внутри. Ты отчетливо произносишь свою фамилию. Полицейский что-то записывает в блокнот. К тебе подскочил фоторепортер. Матрос заслоняет тебя, он видит, что тебе это неприятно. Он думает, что тебе надо сейчас попытаться пережить несчастье. А тебе надо просто скрыться. Ты смотришь на запястье матроса. Потом тебе в глаза бросаются руки погибшего. Синие раздробленные пальцы. Такие же и у остальных.

Есть ли предел жестокости людей? Как теперь им жить, спасшимся на шлюпке. Как быть тебе, уже вычеркнутому из сонма обитателей земных. Необходимо сесть на паром. Но говорят — паромов не будет,

пока не обнаружат и не приведут в порт шлюпку с «Вестфалии». Люди на пирсе не расходятся. Там, в шлюпке, их родные, их друзья.

Общая усталость овладела людьми. Рассаживаются на взгорье перед портом, полудремут, уткнув головы в ладони. Никто уже не хочет обсуждать событие. Томительное ожидание не приносит ничего. Катера бесполезно обшаривают район гибели парома.

Ты уходишь от толпы, идешь вдоль берега залива. Солнце бликами отражается на спокойной воде. К полудню прогревается и море, и окрестный берег. Шлюпка еще не скоро придет, догадываешься ты. Они, спасшиеся, сейчас, наверное, скрываются в одном из фиордов. Они хотели бы войти в порт, когда стукнется мгла вечера, хотели бы пристать в темноте, чтобы никому не смотреть в глаза. Ты тоже спасшийся, но ты затаился, ты хочешь перехитрить судьбу. Но ты уже понял, что не можешь управлять ею. Те, кто спаслись в шлюпке, выжили за счет жизни тех, кто лежит под простынями на пирсе. Прежде чем погибнуть, они цеплялись за шлюпку, они вопили, они просили помощи, а получали веслами по рукам. Шлюпка была переполнена, люди могли спастись только оттолкнув тех, кто рвался в нее. А ты бы смог так поступить. Бить веслом по судорожно сжатым пальцам, видеть как захлебываются в воде твои спутники по парому, мог бы? Чем ты лучше тех, которые спаслись. Они ждут темноты. Ты же решил ничего не ждать. Захотел тихо уйти. Не для этого ты спасен. Не для этого в завтрашних газетах среди погибших будет указано твое имя. Потом, может быть, хватятся, уточнят, но важно — это первое сообщение. Его прочтут твои бывшие коллеги, они успокоятся и будут уверены, что опасность миновала, что зло не всегда наказуемо. Никто уже не будет знать номера их счетов, они переждут и начнут сначала. Найдут такого же чудака, как и ты, будут кричать о благе народа. Зло всегда прикрывается добром. И как различить их — добро и зло. В тени дерева погибают травы, животных закалывают, чтобы усладить других животных, вставших на две ноги. Смерть одного во благо другого. Без зла не узнаешь, что же это такое — добро. Ты можешь сделать доброе для себя, ты можешь стать обладателем больших денег и особняка на Канарах — но для других тогда, кем ты будешь для других? Ты никогда не сможешь вернуться и посмотреть им в глаза. Твой крик о помощи был услышан, и ты не имеешь права делать вид, что спасен

случайно. У тебя достаточно денег, чтобы взять обратный билет.

Ты отлично понимаешь все это. Идешь через толпу к кассам. Собираешь весь запас английских слов. Кассирша удивлена. Она говорит очень медленно, выделяя каждое слово. Разве вы не будете хоронить брата? Ты пытаешься объяснить — это не мой брат. Братя, все братя, — говорит кассирша, — она явно не поняла тебя или не хочет понимать. Ты опять повторяешь название того порта, куда обязан вернуться. Кассирша показывает пальцем на противоположную стену. Там на многих языках и даже на твоём родном — яркими светящимися буквами: «Обратных билетов кассы не выдают». Ты стоишь и смотришь на нелепую надпись, оглушенный плотной тишиной.

И в это время раздаются крики на пирсе — это патрульные катера ведут на буксире шлюпку, переполненную теми, кто спасся. Ты не понимаешь слов, но явно чувствуешь в них и радость и ненависть одновременно.

ВЕЛОСИПЕД СОРОК ПЕРВОГО ГОДА

Дня начала войны я не помню. Все в моем детстве связано с войной. Городок, где я родился, был слишком близок к границе, и тишина, по ночам опускающаяся на крыши его одноэтажных домов, была призрачна и обманчива. Казалось, все затаилось в тревожном ожидании. Внезапно яркий свет ракеты разрывал ночное небо, или вдруг стены дома начинали подрагивать и тренькать, и лязг гусениц заполнял комнаты. Я просыпался, карабкался на подоконник, и в темноте пытался разглядеть силуэты танков. Они обычно ехали по Большой Советской, наш же дом стоял в Ямском переулке, и увидеть их можно было только из окон кухни. Я пробирался туда осторожно, чтобы не разбудить родителей, мне хотелось разглядеть танкистов, но люки танков были закрыты, танки двигались один за другим, мощные и неотвратимые. Я знал, что они едут в Польшу, что они идут освобождать белорусов от злых панов. А потом, разгромив панов, танкисты будут праздновать победу вместе с немецкими рабочими, потому что теперь у нас дружба с Германией.

— Ты почему не спишь? — раздается за моей спиной голос матери.

Я отстраняюсь от окна и тыкаюсь лбом в ее теплый живот, она гладит меня по голове. Грохот за окном усиливается. Блики света ползут по стене, дребезжат стекла.

— Не бойся, мой маленький, — говорит мать, — сейчас я уложу тебя, не бойся...

Мне нечего бояться. Ведь это наши танки. И потом в доме у нас совсем рядом спит дядя Володя, в коридоре висит его шинель, на стуле ремень с кобурой. Его маленькая дочка Лора — моя двоюродная сестра, раньше я думал, что родная, что у нас один и тот же

папа. Но вернулся из Испании дядя Володя — и вдруг оказалось, что именно он отец Лоры. Она еще ничего не соображает и не понимает, как ей повезло...

— Мама, — спрашиваю я, — а мой папа скоро вернется?

— Скоро, сынок, — отвечает мать и крепче прижимает меня к себе, — скоро, он тоже военный, но лучше об этом не говорить, он в секретной командировке...

Я давно знаю об этом, я догадываюсь, что он разведчик. Возможно, он в тылу врага вместе с лориной мамой, об ее отъезде ведь тоже никому нельзя говорить. У взрослых всегда много секретов, но я не из болтливых, я умею держать язык за зубами, так говорит мама.

Она ведет меня в комнату, укладывает в кровать и сидит рядом, ждет, когда я засну, я лежу закрыв глаза и не шевелюсь, пусть думает, что я уже сплю. Утром ей рано вставать на работу...

Она была главным человеком в доме и все зависело от нее. По вечерам она искала меня во дворе, сердилась, если я не мог осилить кашу, все время подсовывала мне что-нибудь, заставляла есть, как будто предчувствовала, что вскоре предстоят голодные годы. Она все знала и могла все объяснить, иногда она казалась мне колдуньей. Она могла найти любую потерянную мной игрушку, точно знала, чего я хочу, будто читала мои мысли. Днем, когда ее не было, я чувствовал себя более свободным, я уходил из-под ее опеки... Хозяйном моим становилась бабушка, которая мне никогда не перечила.

Было ей, наверное, в то время лет пятьдесят, но мне она казалась древней старухой. То, что рассказывали о ней, не вязалось с ее внешностью. Высохшая, седоволосая, суетливая — разве способна она была на то, что о ней говорили...

Так, я много раз слышал о том, что она спасла своего мужа, моего деда, со странным именем Арон, от погромщиков, и не только его, но и других евреев. Кто такие евреи и почему я тоже еврей, я тогда не понимал, думал, что так называют родственников. Во всяком случае, одной из главных особенностей этих рассказов было то, что в них все время подчеркивалась непохожесть бабушки на евреев. Рассказывали, что она была светловолосая, голубоглазая красавица, что ее сватал один из богатейших польских шляхтичей, но она предпочла простого портного из Кракова, который не умел даже разговаривать на русском языке. Я его не видел, он умер в год моего

рождения, и мама рассказывала, что меня хотели назвать в его память Ароном, и она все же настояла, чтобы я был Аликом.

Так вот, когда я городке нашем был погром и все прятались, бабушка не покинула свой дом, она спрятала деда на чердаке, а сама уселась в кресле посредине комнаты, нарядившись в свое лучшее платье. И когда мужики, опьяненные жадной крови и легкой добычей, ворвались в дом, ни один мускул не дрогнул на ее лице, и она не стала просить у них пощады, а грозно закричала на них, так что они попятнулись. Она стала отчитывать их и угрожать им. И тогда они стали просить не выдавать их и не наказывать. «Прости, барыня! Поблазнилось нам. Указали нам, что здесь жидовский дом! Ты уж не гневишься на нас!» И стали просить ее, чтобы указала им верный путь, и она послала их в заречную сторону городка, туда, где вовсе не было евреев...

Другой, запомнившийся мне рассказ был о том, как бабушка спасла моего отца и спаслась сама. Было это, очевидно, в семнадцатом году, отец мой был самый беспокойный из всех ее сыновей, ему не исполнилось и восемнадцати лет, а он все рвался в Питер, и как ни следила за ним бабушка, ему удалось убежать из дому. Он не доехал до Питера, он слишком неосторожно сидел в теплушке, набитой революционными солдатами, сидел, свесив ноги в раскрытую дверь, и ему перебило их стрелкой. Получив известие об этом, бабушка ринулась ему на выручку, но поезд, в котором она добиралась до Ржева, где он лежал при смерти, был остановлен на глухом полустанке бандой. И несмотря на то, что бабушка была голубоглаза и светловолоса, в ней признали еврейку, грубо вышвырнули из вагона, поставили у насыпи и вскинули винтовки. Мгновение отделяло ее от смерти, и вдруг офицер, командовавший расстрелом, подскочил к ней и обнял ее. «Да это же жена Арона, — закричал он, — это Арон пошил мне шинель такую, что все в полку сгорали от зависти! Отставить! Это жена Арона!» Получилось так, что в тот раз дед уберег ее от гибели, хотя и не было его рядом. И отца моего она потом сумела спасти, и когда рассказывала об этом, вздыхала, разводила руками и с горечью говорила: «Нет, Борю ничему не научила жизнь!» Это о моем отце, которого я тогда совершенно не помнил.

Отца мне тогда заменил дядя Володя, приехавший из Испании. У него был звонкий, почти мальчишеский голос. По утрам я просыпался от его восторженных вскриков, в одних галифе он вихрем кру-

тился по комнатам, мускулы бугрили его тело, он казался мне волшебным великаном, он выскакивал во двор и прямо под окнами обливался холодной водой. Потом выхватывал меня из постели, кружил, подбрасывал к потолку, я взвизгивал от радости и испуга, я хватался за его шею. Бабушка с испугом взирала на нашу возню.

Дядя Володя привез мне синюю пилотку с кисточкой, такие пилотки называли «испанками», она была мне дороже любого подарка, мать ушла ее, и я гордо шествовал по двору, вызывая зависть у всех окрестных сверстников. Но еще большую зависть вызывал велосипед, тоже подаренный им. Сбылась моя давняя мечта. Я стал обладателем чудесной машины! Никелированный руль и блестящие обода колес разбрасывали солнечные зайчики на моем пути, стоило нажать на язычок звонка, как все вокруг наполнялось мелодичным звоном, педали крутились так легко, что ноги мои едва поспевали за ними. Можно было вообразить это трехколесное чудо и танком, и самолетом, и боевым кавалерийским конем. Надев испанку, я мчался по двору, вздрагивая на колдобинах. И соседский мальчик Сема, который был старше меня на три года и должен был пойти в школу в эту осень и который раньше даже не замечал меня и не хотел вообще признавать, бежал следом и просил: «Дашь покататься?».

Я уступал, на велосипеде катались по очереди все пацаны из окрестных дворов. Машина не выдерживала. То слетала цепь, то отрывалась педаль, а однажды соскочило колесо. Тогда я старался внести велосипед в дом незаметно, прятал его в коридоре, накрывая старой одеждой, и ждал, когда придет к нам другой мой дядя, работавший на железной дороге и понимающий толк в любой машине.

Он был небольшого роста, всегда улыбающийся, часто навеселе, от него пахло мазутом, одежда его была всегда грязной, мать ворчала, заставляла его переодеваться, а бабушка в нем души не чаяла, усаживала за стол, наливала стопку, усердно кормила. Он шутил, выпив, пел озорные частушки. Мать уводила меня в другую комнату, чтобы не слушал, а я запоминал сходу и потом пел Семе во дворе. А когда дядя выходил из дому, подскакивал к нему, и он уже знал зачем, потому что в карманах его обнаруживался нужный ключ, отремонтированная педаль, клей для шины — в общем, все что нужно для того, чтобы восстановить мое трехколесное чудо. Я тогда думал, что совершенно напрасно дядя разъезжает на своей дрезине

по разным полустанкам, ведь такой умелец вполне мог бы быть танкистом, если бы захотел. И однажды я спросил его: «Дядя Миша, а почему ты не хочешь, как дядя Володя, стать военным, тебе бы сразу дали самый главный танк!» — «Я танков боюсь, — ответил он, — душно там, в танках!»

Этот его ответ смутил меня, неужели он, дядя Миша, трусит, неужели не хочет сражаться, чтобы освободить всех рабочих от буржуев? Я спросил об этом у бабушки, она ответила, что это не моего ума дело, что человек должен жить у себя дома, а не лезть, как мой отец, во все дырки, не совать свой нос куда не надо. Тогда я сказал, что если бы дядя Володя не сражался против фашистов, то они бы пришли сюда. «Сражался, — протянула бабушка, — пока он там сражался, такие же воители, как он, сразились с его женой, Бедная Сима, я говорила ей — что позволено твоему мужу — гою, то не позволено тебе. Да кто меня тронет, кудахтала она, мой муж чекист! Вот, я и не знаю, что делать, и не могу я поехать выручать ее, а муж ее обливается холодной водой и ест мой хлеб!»

Трудно было тогда мне что-либо понять из причитаний бабушки, многие в доме утверждали, что она заговаривается, что в лунные ночи совсем не спит и бродит вокруг дома в длинной белой рубашке. Дядя Володя подсмеивался над ней, мать ворчала, и только дядя Миша всегда защищал ее, особенно если получал от нее стопку водки. «Бабушка-бабуленька-бабок! — восклицал он. — Живи до ста лет!»

Мама тоже любила бабушку, но они при этом иногда ссорились, говорили на непонятном для меня языке, спорили на повышенных тонах, и мне хотелось всегда вступить за маму, потому что мама работала, уставала и хотела отдохнуть, а бабушка ей не давала. В ту ночь я тоже проснулся от их споров, громкие голоса раздавались из кухни. Я побрел туда и увидел множество ведер, в которых в мутной воде лежала очищенная картошка, ярко полыхал огонь в печке, пахло щами и чесноком. Бабушка и мама почти кричали друг на друга, но при моем появлении смолкли. Увидев, сколько еды они наготовили, я спросил у них — какой будет завтра праздник, и мать резко взяла меня за руку и потащила из кухни. «Это только приснилось тебе, сынок!» — сказала она.

Утром я сразу понял, что все переменялось вокруг. Во дворе у нас полыхал костер, над огнем повис огромный котел, из которого

шел пар. В доме, в большой комнате было полно незнакомых людей. Какие-то старики с косыми бородами и большими пейсами молились, бормотали непонятные слова, раскачивались; здесь же, прямо на полу сидели дети, испуганные, молчаливые, будто наказанные за какие-то проделки.

Еще более странные перемены были на улицах. Черные лоснящиеся кони лежали у нашего забора, у соседнего дома дымила походная кухня, бойцы, совсем не такие, как раньше, в измятых, пропыленных гимнастерках дымили самокрутками. Танки с опущенными стволами затаились в зелени садов. И хотя нигде и никто не стрелял — весь город наполнился копотью и дымом.

Напрасно я приставал к маме и бабушке с расспросами, им было не до меня. Людей в доме прибавилось — и с ними в дом пришел какой-то затаившийся страх. И как назло не было дяди Володи, за несколько дней до этого за ним приехала длинная черная машина и он, обняв маленькую Лору и потрепав меня по голове, ловко вскочил в нее и уехал, не объяснив никому, куда и зачем. Теперь же почему-то бабушка говорила: «Хорошо, что его нет!» Я знал, что она всегда недолюбливала его. А кто бы, как не он, помог ей сейчас таскать тяжелые горячие котлы! Даже мне пришлось помогать бабушке и выносить из дома тарелки и ложки. Незнакомые люди накидывались на еду, будто они не ели много лет.

У всех у них были воспаленные красноватые глаза и все они чего-то боялись. Некоторые из них говорили по-русски, и я вскоре понял, что все они бежали из Польши, где фашисты сожгли их дома и убивают всех евреев и коммунистов.

Я бродил во дворе среди этих измученных людей, и почти никто из них не замечал меня. Многие дремали здесь же у костра, прямо на земле, дети не играли, а старались не отходить от своих матерей и были похожи на маленьких старичков. Старики же почему-то беспрестанно молились, раскачиваясь всем телом и держа в руках толстые истрепанные книги. Один из них, на мгновение оторвав взгляд от книги, улыбнулся мне, я подошел ближе к нему. «У тебя добрая и смелая бабушка, — сказал он по-русски, — ты должен любить ее!» Я спросил его, что за книгу он читает. «Это Тора, — ответил он, — здесь все предсказано, и гонения, и вся наша судьба. Храм разрушен и нам нет места на земле, Бог карает нас за все наши

грехи!» Я знал уже тогда, что Бога выдумали, но не стал возражать старику. У него были такие добрые печальные глаза, как у бабушки. И я был уверен, что он наш родственник. И мне было жалко его. Я хотел еще поговорить со стариком, но мама уже звала меня, высунувшись из открытого окна.

— Ты не должен ни с кем из этих людей разговаривать, — раздраженно сказала она, — тебя не должны видеть с ними. И никто не должен знать, что мы их кормим, ты понял? Никто!

Тогда мне показались странными ее слова. Ведь все соседи видят, что беженцы в нашем дворе. Сема еще утром расспрашивал про этих людей, и я объяснил ему, что это наши родственники. Их так много — удивился Сема. И я даже возгордился, пусть завидует! Может быть, я напрасно хвастал?

И в то утро, когда эти люди исчезли с нашего двора, какое-то странное чувство не покидало меня, какой-то испуг, овладевший всеми, сдавливал все внутри. И вязкая плотная тишина поселилась вокруг. Детей не выпускали из домов, ни мать, ни бабушка не отвечали на мои вопросы.

Вечером пришел дядя Миша, он тоже не замечал меня. Бабушка налила ему водки, и я увидел слезы на его глазах.

Уже много позже, в эвакуации, бабушка, взяв с меня слово, что я никому и никогда не расскажу о том, поведала мне, что этих несчастных людей ночью втолкнули в крытые машины и отвезли на границу, что там их передали немцам, и те прямо на границе всех расстреляли — и стариков и детей. И что наши чекисты все это видели и стояли молча. И я понял тогда, что все это она узнала от дяди Володи, потому что имени его в нашем доме больше не произносилось.

В те же дни, когда страх окутал город, я понял одно — он начался с исчезновения беженцев. А потом зловещая тишина была разорвана взрывами. Начались бомбежки. Правда, бомбы сбрасывали на железнодорожную станцию, город пока не трогали. Взрывов я не боялся, тогда я не осознавал, что они несут смерть. Без всякого страха смотрел я по ночам на лучи прожекторов, стригущие небо, на зарево пожаров, полыхающих в той стороне, где был вокзал. Днем же, вырываясь из-под присмотра бабушки, с любопытством взирал я на дороги, заполненные отступающими войсками. Молча шли запыленные бойцы, ковыляли раненые, и совсем не видно

было танков, значит, думал я, танкисты прочно держат оборону и нам нечего бояться...

В тот суматошный и страшный день после обеда вбежал в наш дом дядя Миша.

— Вы с ума сошли, — закричал он прямо с порога, — немцы в тридцати километрах, а вы сидите здесь!

— Куда же мы денемся, — сказала моя мама, — здесь наш дом, как же мы его бросим?

— Сейчас же укладывайте вещи! — сказал дядя Миша. Голос его почти сорвался на крик.

На шум вышла из кухни бабушка. Она встала посредине комнаты и раскинула руки.

— Не кричи, сынок, — сказала она дяде Мише, — куда нам бежать? Кто нас тронет! Не позволю!

Дядя Миша оттолкнул ее, распахнул шкаф и стал выбрасывать на пол одежду. Мама принесла чемоданы. Вдвоем они стали записывать туда вещи. Бабушка хватала их за руки. Пот выступил на лице у дяди Миши.

Он пытался объяснить бабушке, что повесит на дом надежный замок, что будет постоянно наведываться сюда, что его оставляют здесь в истребительном батальоне.

С бабушкой началась истерика, она металась по комнатам, седые ее волосы растрепались. В довершение всего упало трюмо и через зеркало протянулась черная линия излома.

— Плохая примета, — сказала мама, — может быть, права бабушка, никуда мы не доедем, двое малышей на руках, да старуха, не справится мне...

Пришел извозчик, с которым дядя Миша сговорился заранее, но в доме не оказалось денег, чтобы заплатить ему, видно он запросил уж слишком большую сумму, мама вынесла ему свою каракулевую шубу.

Когда на подводу погрузили вещи и продолжающую причитать бабушку, я вывез из дома велосипед. Класть его было уже некуда, но я так ревел, так упрашивал, что извозчик взял велосипед себе на колени, и мы тронулись.

На вокзале творилось что-то непредставимое, люди со всех сторон осаждали вагоны, было душно и пыльно, повсюду кричали,

раздавались резкие свистки. На подводе пробиться было невозможно. Дядя Миша буквально силой стащил на землю бабушку и стал торить нам дорогу, я успел схватить велосипед и волок его за собой. В дверях вагонов образовалась пробка, казалось, туда невозможно протолкнуться. Эшелон вот-вот должен был тронуться. Дядя Миша втискивал нас туда почти на ходу. Отчаянно редела моя сестренка Лора, которую мать прижимала к груди. Меня сильно толкнули в спину, велосипед застрял между тел, его буквально вырвало из моих рук. Дядя Миша поднял меня и над головами передал в вагонную дверь. Паровоз надрывно загудел, заглушая мой отчаянный крик.

Люди продолжали бежать за переполненными вагонами, под их ногами хрустели крышки брошенных чемоданов. Откинутый в сторону, искореженный велосипед мелькнул среди разорванных тюков.

Так начался наш долгий путь через всю страну. Настигаемый самолетами, поезд останавливался. Люди бросались из вагонов, прыгали в придорожные канавы, стремились укрыться в ближайших перелесках. Тени крыльев скользили над нами, рвались бомбы, трещали пулеметы. Люди падали, задыхались в крике, корчились на иссохшей земле. Мать решила не выбегать при налетах, и когда начиналась очередная бомбежка и поезд останавливался, она запикивала меня и маленькую Лору под нары и ложилась сверху, защищая нас от осколков своим телом. Я видел, как умирают люди, и не понимал, что угроза смерти нависла и надо мной, самым страшным горем для меня была потеря велосипеда. Страх пришел позже...

ИГРЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Играть в шахматы я начал рано. Когда учился еще в первом классе, я буквально надоел всем окружающим меня взрослым и своим сверстникам, преследуя по пятам людей, умеющих передвигать фигуры на доске. Я не успокаивался, пока не обыгрывал очередного партнера. Никаких книжек по теории любимой игры я не знал, тогда, в послевоенные годы, не только этих книжек не было, вообще мало книг попадалось. Были и голод, и холод, но я ничего не замечал, если передо мною разворачивалась чудесная цепь построений на черных и белых клетках.

В четвертом классе я уже играл на первенство города и победил в своей подгруппе. Потом, в конце турнира, я понял, что попал в группу слабых игроков, и узнал, что в городе есть непобедимый чемпион Алик Ромейко. Чемпион жил на окраине, в рабочем поселке, он недавно женился и дал слово своей возлюбленной, что прекратит играть. Я стоял с доской около его дома несколько вечеров подряд, я знал точно, когда он приходит с работы, когда идет в вечернюю школу, когда выходит за водой к колонке, стоявшей у соседнего дома. Наконец Алик заметил меня. Он был худой, такой же, как я, но необычайно длинный, очевидно, с высоты его роста я мог быть и незамеченным, как гриб в траве. Но лакированная доска отбрасывала блики, доску он не мог не почувствовать.

Мы уселись на скамейке во дворе, я понимал, что проигрыш мой будет первым и последним, чемпион не станет тратить свое время на какую-то малявку. Я подолгу думал, прежде, чем взяться за фигуру. Но в тот вечер я не испытал сладости победы, хотя был так

близок к ней. Когда жена чемпиона смахнула пешки с доски, у меня их было на две больше, при этом одна проходная, остановить ее не смог бы даже Ботвинник. Но жена Алика сумела. «Алик, — сказала она, — ты забыл принести воды, и почему ты забыл свое честное слово».

Алик охотно дал увести себя. А я громко всхлипывал, собирая разбросанные на песке фигуры. Горе мое было безутешным.

И потом мне ни разу не пришлось сыграть с Аликом, и даже, когда я стал чемпионом города, признавая за мной это право, все же вспоминали Ромейко: вот это, мол, был чемпион — не чета нынешним! А я в ответ не имел права сказать, что обыграл его.

О, как я хотел всегда побеждать! Рос я хилым и болезненным мальчиком, был застенчив, сверстники быстро обогнали меня в физическом развитии. Шахматы были единственным способом утвердиться. И тогда и позже, в годы лжи и несвободы, они давали право на шахматной доске не подчиняться ничьей воле, никого не остерегаясь, крушить королевские империи.

Когда я учился в старших классах, директором школы у нас был Ефимов, страстный любитель шахмат. Если шел чемпионат города, он прогонял меня с уроков. «Дима, — говорил он, — вы еще в классе, вам надо отдохнуть, сегодня напряженный тур, сейчас же отправляйтесь домой, а лучше просто побродите по саду». Под завистливыми взглядами одноклассников я не спеша собирал портфель.

Зато школьные вечера стали для меня истинным мучением. Как агнец на закланье, я направлялся в директорский кабинет, где должен был занимать игрой Ефимова, причем специально затягивать партию, не выигрывать, отказываться от лестных комбинаций, могущих решить все за несколько ходов. Все это делалось затем, чтобы мои одноклассники могли вдоволь натанцеваться, чтобы заканчивался школьный вечер не в положенные десять часов, а тянулся до полуночи. Я до сих пор помню эти мои страдания за доской под звуки модного тогда фокстрота «Рио-рита», проникающие сквозь стены директорского кабинета, и то, как, потирая руки, Ефимов склонялся над доской, гордый тем, что чемпион не может одолеть его.

Я любил честную игру, любил, чтобы вокруг были болельщики, чтобы царил праздничный настрой, как это бывает на открытии чемпионатов, когда еще нет ни лидеров, ни аутсайдеров.

Чемпионаты города обычно проходили в фойе театра, где свисали с потолка диковинные люстры, и навощенный паркет отражал их свет. Демонстрационные доски, повторяющие твои ходы, нервное напряжение, радость от задуманной комбинации! Прелесть королевского гамбита и спертого мата, серии жертв — о, как это манило и завлекало!

И все же, после десятого класса я нашел в себе силы отказаться от любимой игры. Передо мной стояла дилемма — участвовать в первенстве страны среди юниоров или поступать в институт.

Город наш был разрушен войной. Жили мы сначала в землянке, потом в вагоне. Мать все надежды возлагала на меня. Она хотела, чтобы я вырвался из этой нищеты, чтобы я стал инженером.

Я поступил в институт и дал слово матери, что никогда не приронусь к шахматным фигурам. На первом курсе я твердо держал данное слово. Передо мной вдруг открылась жизнь во всем ее многоцветий, я, как будто человек, вышедший из больницы, избавленный от смертельной болезни, вдыхал в себя столичную студенческую атмосферу.

Но от шахмат уйти было не просто, они преследовали меня.

На втором курсе, в общежитии, я попал в комнату, где жил капитан институтской шахматной команды, некто Симановский. Это был истинный фанатик, его привязанность к игре была безгранична. По вечерам комната наша наполнялась шахматистами, дымом, и превращалась в шахматный клуб. Я делал вид, что не умею играть, и лишь изредка, когда никто не замечал этого, отрывал взгляд от учебника, чтобы отпечатать в уме очередную позицию и мысленно разыграть ее. По ночам Симановский почти не спал, в шкафу он хранил с десяток шахматных часов для своей команды, и хотя перед тем, как улечься, проверял их, останавливая рычажки, чтобы часы не шли, ночью эти часы начинали тикать, да не одни, а сразу пар пять-шесть, и бедный Симановский вставал, останавливал их, прятал к себе под подушку, и так мыкался почти каждую ночь.

Меня предал мой земляк, который случайно зашел ко мне в гости, Симановский подслушал наш разговор, из которого вдруг узнал о моем прошлом чемпионстве. Три недели он не разговаривал со мной. И лишь перед самым началом студенческой шахматной олимпиады, он затянул меня в кафе и там излил свою душу. Он го-

ворил, что я преступник, что человек, отвергающий свое призвание, последний предатель, что каждому дано свое назначение в жизни, и каждому должна быть дорога честь своих собратьев. «Команда наша в заторе, — сказала он, — мы, как ты знаешь, играем по первой группе, но у нас нет сил, в прошлом году закончили институт и Екельчик, и Василевский, без них мы — ноль! Мы не сумеем устоять перед университетом, где на первой доске Спасский, и даже перед строительным, хотя там и нет звезд, но все играют с одинаковой силой! Ты должен выручить нас, иначе... — он сделал грозное лицо, белки его глаз засверкали, — иначе мы не потерпим этого...»

Я не хотел обижать Симановского и понимал, что теперь он не отвяжется от меня. Так опять шахматы вторглись в мою жизнь. В первых турах я легко обыграл своих соперников, а перед самым ответственным матчем с университетом случилось так, что я всю ночь пробродил по Ленинграду с любимой и пришел в общежитие под утро. Симановский не спал, он ждал меня, я разделся под его укоризненным взглядом, потом долго и бесполезно упрашивал его не ставить меня на игру.

Проигрыш должен был стать расплатой за мою легкомысленность, но любимая ждала меня, а по сему жизнь в любом случае, при любом исходе игры оставалась праздником. Спасский на игру не пришел, на наше счастье, он отбыл на какой-то международный турнир, его заменил не менее известный мастер, и вот этому мастеру я был отдан на заклятие. На четвертом ходу я прозевал фигуру, это случилось со мной впервые на турнире.

Мастер понял, что перед ним сидит недостойный соперник, он уже не обращал внимания на свою партию, часто вставал, гордо прохаживался по залу, заглядывал на доски своих товарищей, подбодрял их, показывал большой палец, мол, у него порядок, очко в кармане, возможно это было и в самом деле так, если бы он сидел за доской, если бы думал, ходов через пять мне пришлось бы сдать. Его безапелляционность, его уверенность в победе разозлили меня, я решил, что терять мне нечего, и стал совершенно некорректно запутывать партию. Симановский бледный, как полотно, стоял за моей спиной, мы проигрывали на большинстве досок, когда я пожертвовал ферзя. Расценив эту жертву, как очередной зевек, Симановский охнул и прошептал: «Дон Жуан! О Господи!»

Мастер сходу, не задумываясь, смахнул с доски моего ферзя. И только когда мои ладьи ворвались на седьмую горизонталь, понял он, что поспешил, над его королем нависли тучи и накрепко приковали его к стулу. Спасти партию было невозможно. Симановский прыгал за спиной и сжимал кулаки. Но мастер есть мастер, он нашел вариант защиты, он нашел угрозу вечного шаха и патовые положения, партия затянулась до позднего вечера, она закончилась вничью, а я опоздал на свидание. После этого моя любимая, на которой я собирался жениться, взяла с меня слово, что я больше не стану играть в шахматы, ибо игра и научные открытия, предстоящие мне, несовместимы. Напрасно я приводил ей примеры из жизни великих людей, отдавших дань этой игре, Как и экс-чемпион нашего города Алик Ромейко, я был вынужден дать клятву, ибо женская логика непробиваема.

Но слово свое я, конечно, не сдержал. Из-за чего, как полагает жена, и не совершил научных открытий. Я обычный инженер. С годами шахматы уже не стали для меня столь легким занятием, как в юности, теперь чтобы пожертвовать фигуру, я подолгу раздумываю, считаю в уме все варианты. Мой партнер всегда в доме, мне не надо искать его. Мерцает экран. Ходы четкие, безошибочные. Ни единой ошибки, ни малейшего сбоя. Компьютер ничего не прощает. Я лишен радости человеческого общения. То, чего не могли сделать ни мать, ни жена — сделала техника. Я все реже и реже включаю компьютер. Шахматы не всегда любят точные расчеты, в них нужны интуиция и раскованность. В шахматах нужен партнер. Но мы живем сейчас замкнуто, никто не приходит в гости, чтобы сыграть партию, у каждого свой компьютер. Наивные игры прошлых лет уже никого не волнуют...

БАВИЛОН

Еще в студенческие годы Портнов выделялся среди однокурсников неумемной энергией. Он был таким моторным и вездесущим, что, казалось, обладал способностью появляться в нескольких местах одновременно. И чем только он не увлекался! Занимался и фотографией, и живописью, и расчетами пластмасс в научном обществе, и самодеятельность была его стихией. Помню его на нашей студенческой сцене в танце маленьких лебедей. Наряженный в короткую юбку и смешно задирающий волосатые ноги, он был неподражаем. Но более всего его манили таинства любви. Итогом стала ранняя женитьба, увы, не остепенившая его.

Звали его незатрепанным русским именем Ярослав, друзья же часто — просто Ярик. Но жена, склонная к полноте и мягко грассирующая дама, сразу стала называть его Ёлик, и это имя накрепко прилепилось к нему. Бремя семейной жизни стало быстро утомлять, и, как прежде, одно увлечение сменяло другое. Он страстно жаждал признания и был уверен, что сможет добиться этого в фотоискусстве. Однако его фотографии, красовавшиеся на стендах городской выставки, никто не хотел замечать и выделить из сонма других, запечатлевших обычные мгновения жизни. Нужно было что-то из ряда вон выходящее. Тогда Ёлик стал фотографировать обнаженную натуру. В те годы эротика была под запретом, повсюду старались навесить фиговые листки, и даже крупным мастерам фотодела не удавалось протащить на выставки самые скромные опусы. Естественно, его пробы тоже были отвергнуты. Однако он добился своего — о нем стали говорить, как о смелом и непризнанном гении.

Запретный плод всегда притягивает. Помню, как с нескрываемым интересом рассматривал его работы. Было для меня главной загадкой — где же отыскивает он фотомодели, как же это юные девицы позволяют наводить на свое обнаженное тело яркие лампы, как удастся уговорить их на столь сомнительное мероприятие? И как терпит все это его жена? Скорее всего она и не подозревает о снимках, хранящихся в ящике стола, постоянно запертом и ей недоступном.

Один из таких снимком ему удалось вывесить на студенческой выставке. Всего полчаса покрасовалась эта работа, притягивающая жадные взоры посетителей, и была сорвана угрюмым деканом нашего факультета. А на очередном собрании все те, кто с восторгом рассматривал обнаженную девицу, выступили с осуждением и говорили резкие обидные слова о растлевающем влиянии Запада и безродных космополитах, стремящихся развратить наше высоконравственное социалистическое общество. Ёлика хотели изгнать из института, и уже был готов проект приказа о суровом наказании «эротомана», когда неожиданно за него заступился парторг — фронтовик, повидавший Европу и понимающий, что тяга к женскому телу неистребима. Он сказал какие-то оправдательные слова о юношеском максимализме и необходимости перевоспитания, Ёлик покаялся и был оставлен в покое.

Пути наши в те годы разошлись. Я увлекся учебой, корпел над расчетами пластин дни и ночи, и лишь случайно мы однажды встретились с Портновым на Невском. Это было в дни защиты диплома. Вместе с начинающим писателем и моим земляком Чермаком мы забежали в кафе-автомат, что на углу Марата и главного проспекта. Там было накурено и полно народа. Среди осаждавших стойку я увидел Ёлика. Его совсем затолкали, и вид у него был очень несчастный, на лбу проступали капли пота, глаза за толстыми линзами очков беспрестанно мигали. Он защитил диплом, правда, с грехом пополам вытянул на три балла, и теперь получил распределение в дикую тьмутаракань, ехать туда не желал, а посему решил раз и навсегда с инженерией завязать. У Чермака, в его потрепанном и пухлом портфеле нашлась бутылка водки, и мы скрытно под столом разлили ее содержимое по стаканам, торопливо выпили и так же торопливо заглотили холодные котлеты. На нас с Чермаком водка не

подействовала, и Чермак, наморщив лоб, стал прикидывать, где бы нам добавить, но тут мы заметили, что Ёлик окончательно поплыл. Он стал неуправляем, начал нести несусветную чушь, и надо было поскорее отправить его домой. Главное — предстояло провести его в метро, а там уж беспокоиться не приходилось, станция его было конечной — добрел бы до дома. Мы сжали его с двух сторон и таким образом проволокли до Московского вокзала, но в метро наше движение было остановлено, и пришлось ретироваться под крики дежурной — огромной рябой женщины в красной фуражке. Зато на стопке такси повезло. Редкий случай — с десятков машин и никого, жаждущего их зафрахтовать. В такси Ёлик несколько оклемался и опять впал в патетику. Стал кричать, что жить в этой стране невозможно, что он чихал на все мостовые фермы и пластины, что будет снимать кино, и что фильмы его увидит весь мир, и мы еще услышим о нем. «Я хочу снимать голых женщин! — выкрикивал он, пытаясь подняться с сиденья. — Вам никогда не понять, что жизнь заключена в женщине! В красоте ее тела! Ортодоксы! Хамелеоны! Запретители!»

— Снимай! — согласился Чермак и основательно ткнул будущего режиссера в бок. Ёлик плюхнулся на сиденье, замолк и обиженно засопел.

В Автово мы с трудом вытащили его из такси, потом доволокли до дома, взобрались на шестой этаж и, прислонив Ёлика к двери, позвонили, а затем, не дожидаясь выхода его жены, быстро ретировались. Мы уже сбегали вниз, когда услышали громкие голоса — один звонкий, с картавинкой, обвинял Ёлика в бесчеловечности и нимфомании, а другой, старческий, произносил более обидные слова, такие как — изверг, подлец, проходимец, но были и не совсем понятные — шикер, мишугинер, малхамовес...

— Он, что, еврей, твой товарищ? — с удивлением спросил Чермак, прислушиваясь к доносящимся сверху крикам.

— Возможно, — ответил я, — хотя, постой, имя у него русское, да и фамилия Портнов...

— Вот-вот, Портнов, — процедил Чермак, — это как раз чисто еврейская фамилия, соображать надо... У русских фамилии по имени идут, а у них от ремесла. К примеру, шорник — Шорников, скорняк — Скорняков, сапожник — Сапожников...

Спорить с Чермаком я не стал, хотя по его теории и Чермак тоже подозрительная фамилия, ну да ему лучше знать. Среди его писательской братии евреев полно. Я и раньше знал, что Чермак евреев не терпит. Это не врожденный антисемитизм, не на религиозной почве, у него антисемитизм практический. Ему, молодому писателю, чтобы пробиться, приходилось преодолевать крутую конкуренцию. Евреи народ пишущий, наверное, со времен Библии так пошло, опередить их талантом Чермаку было не под силу, и вот пришлось на выручку другое: еврей — так, с какой стати лезешь в русские писатели? А ну, посторонись! Я этого не понимал. Жил в ином мире. Мне было совершенно безразлично, кто человек по национальности, да и в группе моей институтской было пять-шесть евреев — парни что надо, и с юмором, и смекалистые, а главное — честные, учились все на отлично, но зависти это ни у кого не вызывало.

Чермак между тем не успокаивался, он сел на любимого конька и продолжал доказывать мне, что Портнов наверняка связан с сионистами, и все они только и ждут, чтобы принизить и растоптать русское искусство.

— Оставь эти бредни, — не выдержал я, — чем Ёлик отличается от нас, такой же человек, может быть, более беспокойный, ищущий, но это все идет от характера, а не от происхождения...

— А характер откуда? — зло выкрикнул Чермак. — Вот именно характер, вся эротика в искусстве идет от них, они жаждут развратить русский народ!

Расстались мы с ним на остановке трамвая у Кировского завода, и я был рад, что наконец-то от него отвязался.

После распределения я года два не виделся ни с Ёликом, ни с Чермаком. Последний так и не пробился в большие писатели, подрабатывал в каком-то журнале, а Ёлик все-таки устроился на киностудию, правда, не в художественную, а в научфильм, там снял несколько лент, и надо же так случиться, что для съемок очередного фильма он приехал к нам, в дальний приморский город, где я к тому времени работал начальником технического отдела. Занесло меня по распределению на самый край страны, но я не жалел об этом. Помимо разработки чертежей и ремонта судов, занимался я тогда и пропагандой передового опыта, а посему несколько не удивился, когда меня вызвал главный инженер и попросил обеспечить

съемки группе киношников из столицы. Был вызван в кабинет и руководитель этой группы. Это был Ёлик. Тут же, в кабинете главного инженера, он долго тискал меня в своих объятиях, и наш главный инженер, поняв, что мы давние друзья, заулыбался и с удовольствием потер пухлые руки, понимая, что для друга я все устрою, и никаких осложнений не будет.

Новый фильм Ёлика назывался довольно-таки прозаично — «Санитария и гигиена на промышленном флоте». Преодолев все препятствия, чинимые портнадзором, моринспекцией и отделом кадров, я пристроил киногруппу на плавбазу «Солнечный залив». Рейс у плавбазы был короткий, и это Ёлика устраивало — сроки сдачи картины поджимали. О своих приключениях в этом коротком рейсе он рассказал мне через месяц. Море заморозило его, и рассказ его был полон междометий и радостных восклицаний. По его словам, фильм должен получиться на славу. В нем будет воспета не только санитария, в кадрах останутся и потрясающие закаты, и переливающиеся волны, и быстрые дельфины, играющие у борта. А главное, будет героиня — женщина в море, в этом месте своего рассказа он вынул и веером разложил передо мной на столе снимки, где была запечатлена известная во всем флоте профурсетка Мики. Оказывается, на плавбазе эта Мики ходила буфетчицей. Я-то был уверен, что ее уже давно не выпускают в рейсы из-за тянущегося за ней шлейфа скандалов и громких историй, которыми уснащен путь этой подружки портовых бичей и океанских бродяг.

Мики на фотографиях Ёлика выглядела очаровательно — этакая светская дама на борту океанского лайнера, совершающая круиз вдоль европейских берегов. Глаза ее просто лучились счастьем, в позах и одежде сквозил налет аристократичности. Естественно, была и обнаженная натура, но без всякой пошлости, даже с некоторыми признаками стыдливости. Мики заслонялась рукой, Мики отворачивала головку...

— Это изумительная женщина, — восхищенно восклицал Ёлик. — В жизни не встречал подобных. Врожденное благородство! И наряду с этой скромностью ты даже не представляешь, как раскована и хороша она в постели! Откуда столько нежности, столько такта и в то же время открытости, естественной жажды наслаждения? Я так благодарен тебе, что ты устроил меня именно на эту базу!

— Не торопись благодарить, — охладил я его пыл. — И постарайся сходить к венерологу, прежде чем ложиться в постель с женой.

Он возмутился, стал кричать на меня, говорил, что я огрубел среди моряков, что утратил чувство понимания прекрасного, что он встречал на плавбазе подобных мне. «Но это были простые матросы, какой с них спрос, а ты, — здесь он буквально задохнулся от гнева, — ты... ты завидуешь мне! Если бы не Мики, я никогда не отснял бы такого фильма, лучшие эпизоды картины связаны с ней!»

Есть поверье у моряков — женщина в море приносит несчастье. А тем более такая женщина, как Мики. Но мои подозрения были совершенно напрасны. Ёлик писал из столицы, что сходил к врачу, что из-за меня ему пришлось подвергнуться унижительной процедуре проверки, и что мои заботы не имели никакого основания. Но в этом же письме он сообщил, что фильм у него задробили, усмотрев в нем большую дозу эротики. Других подробностей не было. Ёлик вообще охотней всегда сообщал об успехах и никогда не делился со мной своими горечами.

В ответном письме, желая его ободрить, я написал, что все это ерунда, что в жизни надо уметь держать удар и что, коли фильм удался, никто не остановит, и в крайнем случае, ленту может купить наша контора и разослать на суда всех флотилий. Письмо мое осталось безответным.

Пять лет спустя я увидел этот фильм в темном и затхлом подвале, который Ёлик именовал творческой мастерской. К тому времени он ушел от жены и почти одновременно его уволили из киностудии. Подвал, правда, не отобрали, но, помнится, какие-то осложнения с домоуправом были, и Ёлик всякий раз проверял, тщательно ли зашторены окна. Фильм, увиденный в этом подвале, конечно же, нельзя было отнести к разряду научных — название «Санитария и гигиена на флоте» ему мало подходило. И может быть, правы были те начальники, которые фильм повелели смыть. Но прав был и Ёлик, тайком выкравший копию фильма. Это была работа мастера, звучная поэма о море и о женщине, решившейся выйти в это море, это была песня о любви на фоне морских закатов, а что касается гигиены — то там был судовой душ и судовая баня-сауна, и конечно же, Мики под струями воды, Мики — в парной, Мики — в бассейне. Когда она появлялась на экране, Ёлик подталкивал меня в бок, чмокал губами, и видя мою невозмутим-

мость и неспособность разделять восторг, восклицал:

— Ты только посмотри, классическая грудь Дианы ! Это же воскресшая эллинская скульптура! Как ты это не поймешь! Как ты мог не заметить? Жить в городе рядом с такой женщиной и пройти мимо! Да ты же импотент, как и мой директор! Ты бы слышал, как он раскричался, когда все это увидел. Мы, мол, затратили массу денег, послали экспедицию в море, хотели дать флоту пособие о передовых методах соблюдения гигиены, об охране рыбацкого труда, в вместо этого — обнаженная бесстыжая фурия демонстрирует свои прелести! Нужно ли это советскому моряку, какие мысли у него рождаются в дальнем рейсе на просмотрах всей этой разухабистой порнографии!

Я живо представил всю эту сцену на студии и, зная горячность Ёлика, понимал, на каких тонах шел разговор. Но уволили моего товарища не сразу после этого скандал. Он успел отснять еще два фильма, когда, по его словам, началась настоящая охота на ведьм. На студии решили избавиться от инородцев. И не такие, как он, а более знаменитые и уже состоявшиеся режиссеры и операторы вынуждены были уйти. За несколько месяцев студию очистили от евреев. Я не верил Ёлику. Бред какой-то! Мы сидела в его мастерской, потягивали коньяк из желтоватых стаканов, мы были в Союзе, а не в гитлеровской Германии. Ёлику надо было перед кем-то выговориться, на мои возражения он почти не обращал внимания. Конечно, он многое преувеличивает, думалось мне, самый легкий путь — списать все на антисемитизм. Наверняка, не состоялся Ёлик как мастер, не хватило ему таланта!

Лишь много позже мне открылась вся неприглядность существующего в те годы положения, а в тот вечер, помнится, я страстно пытался доказать, что все мы равны и что национальность — не то, что разделяет людей, что он, Портнов, человек русской культуры. И если изгонять из русской культуры, из русского искусства только по признаку крови, тогда мы придем к фашизму. А у нас в народе всегда была терпимость, всегда Россия принимала и втягивала в себя посланцев всех племен и народов. И мы никогда не задумывались, какой процент русской крови у Пушкина, у Даля, у Мейерхольда и Эйзенштейна, — знали одно — их творчество принадлежит России!

— Ты, может быть, и не задумываешься, — перебил мои сентенции Ёлик, — а те, кто правит нами, постоянно, на протяжении

всей истории стараются раздуть антисемитизм, сделать его государственной политикой, все — от Грозного до кровавого Сосо!

— Но теперь иное время! — воскликнул я.

— Иное, — протянул Ёлик, — тебе бы посидеть на наших собраниях, тебе бы послушать наших боссов... Нет, я не намерен дольше терпеть. Раньше я никогда не чувствовал себя евреем, ни в школе, ни в институте. Я тоже думал, что происхождение не имеет никакого значения, вправе ли человек кичиться тем, что он родился русским или англичанином, это не его заслуга!! Но я ошибался...

После этой встречи меня уже не удивила весть о том, что Ёлик решил уехать в Израиль. То была пора бурных отъездов. Те, кому повезло, умудрялись выехать в Америку или Австралию, и даже те, кто направлялся в Израиль, старались при пересадках в Вене или Риме добиться американской визы. Я не был на проводах Ёлика. Во-первых, он ничего не сообщил мне, во-вторых, как раз в это время я готовился к рейсу в Атлантику, где должны были проходить испытания спроектированных в нашем конструкторском бюро специальных зажимов для тросов. Подробности отъезда я узнал от его бывшей жены, которая, несмотря на давний разрыв с Ёликом, говорила о нем очень проникновенно и уважительно. Большие ее глаза в течение рассказа неоднократно влажнели, она тяжело вздыхала, виновато улыбалась и постоянно теребила ручку сверхмодной сумочки. Все на ней было импортное, все это она получала оттуда, где теперь пребывал наш Ёлик. Он не забывал ее и своих детей, постоянно слал дорогие посылки, да с такими вещами, что, продав их, можно было безбедно существовать. Оставалось только порадоваться за Ёлика, очевидно, он крепко там стоит на ногах и, по всей вероятности, отснял уже не один фильм. И гонит он там в кадрах сплошную эротику, и никто ему не препятствует. Об этом с его бывшей женой, естественно, я не рассуждал, взял его адрес, попросил передать привет от меня и пообещал не теряться, а при приездах в Ленинград обязательно звонить и даже заходить, если будет время. Однако жизнь закручивала так, что всякий раз не оставалось свободных часов. Командировки мои были краткими, и долго время я ничего не знал ни о ее судьбе, ни о судьбе уехавшего товарища.

Переписываться с покинувшими наши края было небезопасно. Письма перлюстрировались — и уже само знание об этой процеду-

ре отбивало всякую тягу к бумаге, нельзя было откровенничать, а слать просто отписки — сигналы о том, что жив — имело ли смысл? Подрос его сын, он заканчивал школу и воспылал любовью к отсутствующему отцу, у них завязалась своя, тайная от мамыши переписка. Потом неожиданно сын Ёлика начал писать и мне. Это случилось, когда его призвали в армию и отправили в такую глушь, куда не только что Макар телят не гонял, а где даже комары дохли. Там, на далекой заставе, умный паренек из интеллигентной семьи задыхался от унижений. Я посоветовал в одном из писем качать мускулы, чтобы суметь постоять за себя, и послал несколько брошюр — пособий по восточным видам борьбы. В жизни надо себя защищать, особенно солдату-новобранцу, когда каждый норовит прокатиться на твоём горбу. Вскоре в письмах исчезли жалобы, и я узнал о страстях, испытанных сыном Ёлика, много позже, когда мы встретились.

Произошло это лет через пять после его службы, в здании международного аэропорта нашей столицы, где бродили мы в ожидании самолета из Парижа, на котором прибывал на родную землю его отец и мой товарищ Ёлик Портнов, и звался он теперь не Ярослав и не Ёлик, а Гарри, и фамилия его тоже претерпела изменение, она была переведена на идиш и теперь наш Портнов стал Шнейдером.

Я ожидал, что моим глазам предстанет респектабельный джентльмен представитель заморского кинобизнеса, и посему, вглядываясь в лица прибывших пассажиров, останавливался на самых солидных фигурах. Оказывается, по такому же принципу выискивал своего отца и мой спутник. Рейс из Парижа прибыл вовремя, задерживала движение людей таможня. И мы никак не могли определить — прилетел ли наш Гарри... И вдруг в невысоком лысеньком человеке я обнаружил знакомые черты, пассажир этот обернулся и его кривоватая улыбка исключила всяческие сомнения. Да и сын тоже узнал его, побежал к стеклянной перегородке. Там, за этой стеклянной стеной, казалось, люди плавали, как в аквариуме, всем не хватало воздуха, а потому они беззвучно шевелили губами в окружении своих чемоданов, обклеенных разноцветными этикетками. Большая часть этих чемоданов, как потом выяснилось, принадлежала нашему Гарри. Чемоданы были столь высоки, что когда он заходил за них, они почти полностью скрывали его. Были эти громоздкие вместилища грузов на колесиках, и Гарри без особого напряжения пе-

редвигал их. Всех уже давно проверили, и там, в безвоздушном аквариумном пространстве оставались лишь Гарри и таможенники. Ох, и задал он им работы. Видно было, что все окружившие его чиновники недовольны, пот проступил на их лицах. А Гарри только улыбался и взмахивал руками.

Потом были объятия, суматошные поиски такси, погрузка в поезд, споры с носильщиками, дорога до Ленинграда, незамеченная нами, ибо всю ночь в поезде мы внимали рассказам Гарри. Приехали мы рано утром, на вокзале нас встречали его бывшая жена, целый клан родственников и незнакомые мне его школьные друзья. От вокзала мы ехали на четырех машинах, и меня все время беспокоила мысль, как же расплатиться за эти машины. Гарри наш гость, мы должны его обеспечивать, а денег у меня в обрез, и если расплатиться за такси, то на обратный билет придется занимать у кого-либо из друзей. Но когда подъехали к дому, Гарри с ловкостью обезьяны обежал все четыре машины и рассовал всем шоферам зеленые бумажки, получив которые, те просияли и стали усердно помогать нам затаскивать на шестой этаж — дом был без лифта — огромные заморские чемоданы. Так он сходу продемонстрировал нам значимость доллара. Гарри и позже везде расплачивался долларами, эти зеленые бумажки были нарасхват, а когда потребовалось спиртное, сын его сбегал на ближайший угол к кооперативному кафе и там взамен сотни долларов получил не только две бутылки водки, но и целую кипу наших десятков, так что проблем с деньгами не стало.

Дома Гарри сразу начал распаковывать чемоданы и всех одаривать. Процедура эта захватила и родственников, и школьных друзей, да, признаться, и меня не оставила равнодушным. Ведь я вдруг ни с того, ни с сего стал обладателем миниатюрного компьютера, затем на меня был напялен пушистый свитер, а карманы мои заполнились зажигалками и авторучками, на руку мне Гарри нацепил часы, да не просто часы, они сочетали и часы, и калькулятор, и записную книжку, и еще что-то необходимое уже не для меня, а для западного человека — таблицу с курсом валют. Все радостно улыбались, довольно хмыкали, примеряли вещи, но больше всех был счастлив сам дарящий. Это был его звездный час, может быть, он и приехал сюда только ради этого сладкого мига. Ведь что может в жизни быть при-

ятнее, чем почувствовать себя Санта-Клаусом. И вся эта раздача была его утверждением в глазах родственников и друзей. Все эти добротные вещи, все эти диковинные компьютеры, эти неисчерпаемые чемоданы кричали не только о щедрости хозяина, но и о том процветании, в котором пребывал наш Гарри в заморской стране. И чем больше он суетился, чем больше он старался раздать всего, тем сильнее закрадывалась мысль — что-то здесь не так, куда он спешит? Почему он дергается? Наслышаны мы о тамошнем процветании! И неужели исчез тот давний Ёлик, которого все эти вещи никогда не интересовали, неужели мир бизнеса заслонил в нем художника, перекрыл все зелеными бумажками, с которых взирал на нас суровый и бородатый Авраам Линкольн...

В эти суматошные дни мы редко оставались с Гарри наедине, правда, и не разлучались, ибо я повсюду его сопровождал, и это обстоятельство сделало меня слушателем его рассказов, повторенных много раз с разными нюансами. Конечно, для родственников он все несколько приукрашивал, но, в целом, можно было поверить, что жизнь его сложилась не так уж плохо, хотя путь и не был усеян розами. Повсюду он натывался на шипы, и хотя открыто в этом он не хотел признаться, судя по отдельным деталям, ему приходилось несладко.

Во-первых, кинорежиссером он не стал, не было у него поначалу никаких средств. Выехал он в землю обетованную с одним дипломатом, вызвав недоумевающие улыбки как в Шереметьево, так и в аэропорту Тель-Авива. «Но люди, смеявшиеся надо мной, были не правы, — объяснил мне Гарри, — это я должен был хохотать над ними, над их упорным стремлением вывезти неподъемные узлы, над их мещанским нежеланием расстаться даже с самой занюханной кастрюлей. Они не хотели понять, что все это можно там приобрести совершенно спокойно. Я же увез главное — через голландское посольство переправил свои ленты!»

Да, ему пришлось повозиться и призвать на помощь все свое хитроумие, чтобы отснятые им ленты, которые давно должны были быть смыты по приказу зоркого начальства, обрели свою явь на экранах Иерусалима. Но кому они нужны были там? Совсем иной мир, совсем другие запросы. Правда, прибывшего из России режиссера не оставили в беде, ему позволили отснять фильм. Лента эта не принесла ему успеха, а незнание языка сделало невозможной рабо-

ту на студии. Тогда ему предложили преподавать в киноинституте, он вынужден был отказаться: «Не знаю иврит». «О, это не имеет никакого значения, — сказал ему ректор сего заведения, — будете преподавать на английском». Узнав, что советский режиссер не знает и английского, босс удивленно пожал плечами.

Другое неудобство в жизни моего товарища возникло в связи с постоянными призывами в армию. Оказалось, что человек даже в его возрасте должен был один месяц в году посвящать охране кибуцев. «Это было не для меня, — рассказывал мне Гарри, — не для этого я туда ехал! И представляешь — арабы, когда они прут на эти кибуцы, впереди себя гонят детей и женщин, стрелять в детей — меня это никто не заставит!» И действительно, Гарри был не очень надежным солдатом, хотя и обученный воинским знаниям в Союзе — была у нас в институте военная кафедра — он там эти свои знания не проявил, делал вид, что оружие видит впервые в жизни, убегал из казармы в самоволки, или как у них там наверное по-другому называется, не знаю, во всяком случае бравым капралам иудейской армии он попортил немало нервов, и в конце концов нашел выход из этого конфликта: пользуясь доверчивостью дежурного, тоже выходца из России, Гарри выкрал свою карточку, и после этой кражи выпал из строго отлаженной системы учета, во всяком случае, пропажи не хватились, а может быть, посчитали, что он пал в бою, но отвязались, призывы отпали...

Много удивительного узнал я из его рассказов, но самым потрясающим было для меня сообщение о появлении на земле обетованной нашего друга Чермака. Вот это поистине метаморфоза! В жизни бы никогда не поверил, если бы не вещественное доказательство — книга рассказов Чермака, изданная в Тель-Авиве. Книгу эту Гарри подарил мне. Она была прекрасно проиллюстрирована, да и бумага — офсет высшего качества, — о которой можно только мечтать. Ай да Чермак! В клане писателей он так резко боролся за чистоту расы, так досконально знал происхождение своих собратьев по перу, так яростно отлучал от литературы тех, у кого в жилах текла хоть капля еврейской крови! За его рвение здесь, в Союзе, он даже стал каким-то начальником в правлении. И вот насмешка судьбы! Один из его доброжелателей раскопал, что мать Чермака не Полина, а Фаина, и отчество у нее не Мироновна, а Мордехаевна. И Чермака

вмиг затоптали свои же собратья по правлению.

— Я чуть не ошалел, когда увидел его в Хайфе! — рассказывал Гарри. — Думаю, мираж, ущипнул себя за ухо, нет — сам Чермак, собственной персоной! Ты знаешь, зла на него я не таил, все-таки земляк. Я даже помог ему выпустить эту книжку. Он был на седьмом небе от счастья. Понесли мы рукопись в типографию, он спрашивает: кто-нибудь будет читать, с кем надо согласовывать? А когда узнал, что никто не будет смотреть, просто джигу выплясывал на площади перед синагогой. Книгу действительно никто не стал читать, но магазины не смогли продать ни одного экземпляра. Там другие законы, все определяет бизнес. Есть реклама, есть острота, детективный сюжет — тогда пойдет, а проза типа соцреализма — кому она нужна! Эта книга разорила Чермака! Но не переживай, твой друг не пропал. Быстро сориентировался в обстановке, теперь он еще тот фанат! Кричит на каждом углу о превосходстве евреев, борется с засилием арабов в литературе, выискивает неправедных, разоблачает русских, выдающих себя за евреев...

Я слушал Гарри, раскрыв рот от изумления, и потом уже, ночью, когда все успокоилось в доме его бывшей жены, спокойно поразмыслил обо всем и понял — ничего сверхудивительного в этом нет — шовинист остается шовинистом, где бы он ни жил — здесь ли, у нас, или там, на земле обетованной. Это просто болезнь, но опасная болезнь! Сколько страданий принесла она миру, как разъединяла и растаскивала людей по разным углам. И мы напрасно так легко относимся к ее носителям. Дорвавшись до власти, они шутить не любят. И бесноватый Гитлер, и наш кровавый гуталинщик Джугашвили, к сожалению, не последние вожди, порожденные и зараженные безумием расовых бредней...

Почти все дни пребывания Гарри в родном доме были заполнены суетой. Постоянно мы куда-то спешили, всегда опаздывали, заказывали такси по телефону и отменяли эти заказы... Гарри жаждал увидеть всех своих знакомых, побывал почти во всех уголках города. Обвешанный фотоаппаратами, он шустро бегал по набережным, садился на ступени, залезал на статуи, ловил подходящие кадры. Мы обошли почти все музеи, побывали в мастерских художников-авангардистов, а один из дней полностью провели на киностудии. Меня Гарри никуда от себя не отпускал. А от сопровождения

своей бывшей жены старался увильнуть. Она, конечно, поняла это и в свою очередь выдумывала, что у нее есть неотложные визиты. Но на самом деле никуда она из дому не выходила и всякий раз не ложилась спать, пока мы не возвращались. В один из вечеров, ей, правда, захотелось пойти с нами. У нас были билеты на спектакль нашумевшей молодежной труппы. Гарри довольно грубо заметил, что она будет нам мешать. Ничего не сказав в ответ, она вышла на кухню, и там я застал ее рыдающей около газовой плиты. Я стал успокаивать, но это вызвало новый взрыв плача. Наконец она успокоилась, вытерла лицо полотенцем и сказала: «А что еще я могла ждать, старая дура, все давно решено бесповоротно. Ему без меня хорошо — и дай Бог, я не злюсь, у него давно уже своя жизнь...»

Так ли уж хорошо было ему, как он старался показать — не знаю. На откровения я его не вызвал, но все же с каждым днем он сообщал мне невольно ту или иную деталь, которые заставляли по-другому взглянуть на его успехи и жизнь на берегу теплого моря. Главный прокол — потеря любимого дела, ведь нет его фильмов! И о каких фильмах может идти речь, если, судя по его рассказам, он с трудом устроился в музей фотографом, причем пришлось пройти жесткий отборочный конкурс — на это место претендовало более сорока человек. Вот уже поистине чисто еврейская профессия — фотограф! Думаю, что там этих фотографов, как собак в заполярном поселке. И все же он добился, получил официальную должность при музее и высокий оклад, что позволило жить безбедно, И о какой бедности может идти речь, если есть оклад, а полки магазинов переполнены продуктами. Но ведь не в этом же суть, не хлебом единым...

Впрочем, и в фотографии можно достичь высот! Гарри был мастер, это я гарантирую, он и там сто очков вперед мог дать своим коллегам. Недаром ведь прошел большой конкурс. И фотоальбом сумел выпустить чудесный! Видел его творение своими глазами. И отставной генерал, директор музея, ему покровительствовал. Генерал этот окончил военную академию еще у нас в Союзе, знал самого Жукова, обладал громовым басом и был на дружеской ноге с бывшим премьер-министром Рабином. Бравый генерал вскоре убедился, что приобрел первоклассного фотографа. Ободренный Гарри решил устроить в музее персональную выставку своих работ. Три ме-

сяца он не вылезал из фотолаборатории и наконец выложил в огромном зале на паркетном полу свои шедевры. Он раскладывал фотографии в присутствии высокой комиссии. Седоголовые узкобородые евреи в ермолках восхищенно пощелкивали языками, рассматривая неизвестные им красоты Ленинграда, леса и озера Карелии, да и свои знакомые места, которые вдруг оказались выхвачены под столь необычным ракурсом, что просто потрясли воображение. Все шло хорошо, пока Гарри не начал выкладывать самые заветные работы — обнаженную натуру. Плавные обольстительные изгибы женских тел и манящие позы фотомоделей почему-то не вызвали восторгов. Генерал насупился, покраснел, старцы потупили головы.

Высокая комиссия выставку открыть не разрешила. Гарри был в недоумении. «Что вы наделали, мой друг? — сказал генерал раздраженно, потирая короткопалые руки. — Вы забыли, что еврею нельзя смотреть на обнаженную женщину, религия запрещает, мы не имеем права взирать даже на жену в таком виде! Вы не только провалили свою выставку, но и опорочили меня, вы закрыли наглухо себе путь к признанию. Слухи об этом просмотре завтра же разползутся по всей стране!»

Провал, конечно, был грандиозный. Теперь не только о выставках, нельзя было думать даже о выпуске фотоальбомов.

День, когда Гарри поведал мне о своей неудаче с выставкой, с самого утра не задался. На улицах нам не давали покоя, несколько раз приставали женоподобные парни, выпрашивали валюту, и один из них был столь навязчив, что шел за нами по пятам от Исаакия до Летнего сад. Я напрасно пытался его убедить, что мы обычные советские граждане, что никакой валюты у нас и в помине нет. Но ленинградских фарцовщиков не так-то легко провести, на иностранцев у них собачий нюх. Этот парень сразу определил меня: ты конечно не иностранец, но твой друг — оттуда. Навязчивого любителя долларов пришлось в конце концов послать по-русски подальше. Но сменив его, пристал к нам еще более навязчивый тип. От него мы скрылись в захлапленном подъезде. Дом принадлежал какой-то проектной конторе. Во дворе стояли десятки машин, из дверей с папками под мышкой выскакивали суетливые клерки. И вдруг один из них, веснушчатый и лопухий, кинулся к Гарри с объятиями и заговорил быстро, постоянно оглядываясь, спеша, проглатыва-

вая окончания слов. С трудом разобрали из потока его объяснений, что он учился вместе с нами, был в параллельном потоке на машфаке, что он знает, где теперь мы, что очень искал подобной встречи. Неожиданно он оборвал поток своих слов, отскочил от нас кинул уже на ходу: «Сделайте вид, что вы меня не знаете, сейчас выйдет моя начальница». Мы отошли в сторону. Из дверей вышла солидная дама, вся в черном, наш однокурсник, забежал вокруг нее, услужливо открыл дверцы машины, и когда машина выехала под арку, снова бросился к нам. «Мы должны поговорить, — затарабанил он, — мы обязательно должны поговорить! Неужели вы не помните меня? Ведь я Крейн!»

И тут мы почти одновременно вспомнили: ну конечно, тот самый Крейн, которого еще на первом курсе отчислили, который потом устроился на заочный, а после перешел к нам, тот самый Крейн, который на заводской практике заснул в паровом котле, и как начали этот котел испытывать, и как стали поддавать пар... «Да, да — все было именно так, подтвердил Крейн. — Ребята, вы идите за угол на остановку, только не оглядывайтесь на меня, через пять минут я подойду, садимся в пятый автобус, но сделайте вид, что мы незнакомы!»

Гарри почти согласился, когда восстал я, что это за шутки, что за игра в разбойников и сыщиков? «Послушай, Крейн, — сказал я — ни о каких пятых автобусах не может быть и речи, хочешь поговорить, вон там, впереди, скамейки — посидим, но недолго, мы очень спешим». Предложение мое было принято, но каких усилий стоило Крейну перебороть себя, подавить свой страх. На скамейке он дергался, как на электрическом стуле, постоянно оглядывался, старался прикрыть лицо рукой. Все прояснилось, когда мы выслушали его рассказ. Ситуация у него была из тех, что называются — «и хочется, и колется». Крейн рвался уехать из страны, но при этом он страшно боялся что-либо утратить. Дело в том, что вот-вот должен был решиться вопрос о направлении его в дальнюю экспедицию, он долго добивался открытия визы, вроде бы дело стронулось с места, посему никто не должен был знать о его дальнейших планах. Потерять место в престижной зарубежной экспедиции он боялся больше всего. В то же время жить здесь он не хотел, по его словам, он устал бороться с подонками. Ему нужен был вызов от Гарри, но ни в коем случае не

сейчас, а потом, когда он даст о том условный знак, например, напишет Гарри письмо, в котором вместо подписи нарисует слона.

Не без улыбки мы выслушали Крейна и категорически отказались от дальнейших встреч с ним, однако наш отказ не убавил назойливости у бывшего однокурсника. Вечером он, раздобыв неизвестно где телефон, позвонил нам, причем изменил голос, вероятно, говорил через платок, никак не хотел назвать себя, давал намеки, бубнил нечто иносказательное, пока мы не догадались, что это Крейн, и не послали его к черту.

После этого звонка мы начали утомительный спор и говорили на высоких тонах, благо, никого дома не было. Я высказал все, что думал об отъездах, об этом Крейне и других, говорил, что все это стремление к сытой жизни, хитрованство какое-то, прикрытое национальной идеей. По такой логике и ненцы должны сняться со своих мест, рвануть из мерзлой тундры в южные край, а из российских захолустий люди должны устремиться в столицу, москвичи же захотят переехать в Крым, и вообще начнется великое переселение народов.

— Думаешь, я рванул за шмотками и польстился на сервилаты? — выкрикнул Гарри. — Чихал я на это все! Это я перед родней здесь выдрючиваюсь. Ты —никогда не поймешь, что значит быть отверженным, что значит жить скованно, всего остерегаясь. Пока все тихо и гладко, еще можно прожить, но как только к тебе пришел успех, ты стал жить лучше — ага, это потому что ты еврей, еврей, мол, умеют устраиваться! А когда худо стране — вот тогда уж точно евреи виноваты. Слава Богу, что вот уже много лет евреев не избирают в партийные боссы и не назначают министрами, а то бы незамедлительно обвинили—довели, мол, страну до ручки! Сейчас ищут виноватых в истоках строя, там есть простор для антисемитов, смотрите — это они: Троцкий, Зиновьев, Каменев, Свердлов, устроили на Руси кровавую сечу, а о том, что были тысячи других — это не в счет. Был кровавый Сосо — грузин, был его сподручник Берия, были латышские стрелки, были Махно и Петлюра, Молотов и Ворошилов, хватало палачей. Но выискивать среди них будут только евреев! Если бы ты видел, как харчили меня на киностудии, у тебя не

возникло бы таких вздорных сентенций. А тебе, далекому от всего этого, легко сейчас судить. А ты попробуй, примерь на себе мои одежды. Почувствуй, как задышался я в этой атмосфере!

— А там, в твоей земле обетованной, что, другая атмосфера! — прервал я поток его излияний. — Там такое же государство! Есть деньги — будешь творить, нет — до свидания! И к тому же ханжество великое, ханжество, укрепленное догматами веры, ортодоксальной религией! Там тоже, как я понял, любят все прикрывать фиговыми листочками!

— Ты, пожалуй, прав, — неожиданно сдался Гарри, — любому государству художник не нужен. Настоящий творец вынужден эмигрировать в себя, уйти только в свой мир! Да, радуйся, я ничего не добился! Можешь посмеяться! Но зато я почувствовал, что значит быть равным со всеми, не изгоем, не чужаком, а таким же, как и все! Да, там надо работать и работать совсем по-другому. Мы привыкли много говорить, привыкли спорить, обсуждать других, завидовать удачам других, а там надо делать бизнес, и все это пахнет потом, но зато никто не упрекнет тебя!

— Ты и здесь мог работать, не выдумывай! — сказал я, меня уже начали утомлять его тирады. — Смотри, сын твой после армии прекрасно устроился, прилично зарабатывает!

— Сын уедет ко мне, — прервал Гарри, — я говорил с ним, ему тоже все надоело. Кстати, тебе большое спасибо, что поддержал его; не дал свихнуться... Мне он рассказал. Там, на заставе, попался старшина из ярых, просто зоологических антисемитов, он ни разу не назвал сына ни по имени, ни по фамилии, одно было — пархатый. Потом натравил на него старослужащих, так называемых дедов, те избили, потом порешили превратить в свою подружку, была попытка изнасиловать... И тогда сын объявил войну своим преследователям... Твои книжки по восточной борьбе помогли ему. Старшина загремел в госпиталь. Был выездной военный трибунал. Сына перевели в дисциплинарный батальон, и там он хлебнул в полной мере всего, что называется мерзостями жизни, хлебнул вдвойне — и как провинившийся солдат, и как еврей...

В этот вечер мы распили на кухне бутылку водки, и Гарри первым не выдержал и ушел в свою комнату, где сразу же заснул, прикорнув, не раздеваясь, на диване. Я посидел еще немного и успел выку-

рить две сигареты, когда щелкнул замок входной двери, и на кухне появилась его жена. Мы выпили с ней по чашечке кофе. Настроение у нее было прескверное. Возвратилась она поздно, потому что сидела у подруги и думала, что нас, как обычно, еще нет дома.

— Столько лет я ждала приезда Ёлика, — сказала она, и глаза ее повлажнели, — а приехал другой человек, и зовут его по-другому. Ничего не принесла эта встреча, он просто разрушил все, что еще оставалось, и я поняла — никогда не надо надеяться. Надежда — иллюзия, мы цепляемся за нее, и вот она тает. Жить не хочется...

— Брось ты эти мучения, — попытался я успокоить, — какие могут быть надежды, у тебя своя жизнь, у него — своя, надо просто жить, жить тем, что сегодня...

— Легко говорить, — вздохнула она и стала рассказывать о сыне, о том, как трудно было его растить, о Гарри, который умудрялся из своего далекого Синая присылать посылки и даже деньги передавал, и о том, что она напрасно воспитала сына в любви к отцу, которого сын и не помнил вовсе, это главная ошибка, и вот теперь результат.— Он хочет отнять у меня сына, — сказала она, — знаешь, он предлагал и мне уехать, но не обещал там жить со мной... Очутиться в чужой стране, опять одной, сын — он быстро устроится, он молодой, а я... Скажи, что мне делать, скажи...

Я молчал. Что я мог ей посоветовать? Я понимал, что жизнь ее с отъездом сына потеряет всякий смысл, и в то же время имею ли я право отговаривать сына, искать новые доводы, чтобы остановить Гарри, убеждать его, что бессердечно лишать свою бывшую жену главной опоры в жизни.

На следующее утро я стал собираться в дорогу. Гарри не удерживал меня. Простились мы сухо, писать друг другу не обещали. Надеяться на новую встречу нам, обитателям разных миров, было почти бессмысленно...

На этом можно было поставить точку в повествовании о моем бывшем товарище, если бы не еще одна встреча, совсем неподвиженная. Спустя два года после описываемых событий я ушел в промысловую экспедицию и мне удалось побывать на «земле обетованной», хотя захода туда и не было обозначено в нашем рейсовом задании. Просто мы двигались к Суэцу и нам срочно потребовалось переправить на берег больного, неожиданно был разрешен заход в

Хайфу, именно там находился госпиталь, где нашего больного могли спасти. Я вспомнил о Гарри и дал ему радиограмму, но, видимо, моя весточка не застала его, наверняка путешествовал где-нибудь по Европе, было лето — время отпусков. Во всяком случае, в порту он меня не встретил. Стоянка была кратковременной на берег сходить не рекомендовалось, но я все же упрямился капитана разрешить мне пару часиков побродить по городу. Жара стояла невероятная, ослепительно белые дома на уходящих в гору улицах, казалось, таяли в дрожащей дымке. Пахло аптекой, гниющими фруктами. Казалось, все вымерло вокруг. И только пройдя два квартала, у здания синагоги я заметил молчаливую толпу. Составляли ее в основном пожилые мужчины, бородатые, в ермолках и белых накидках. Я подошел ближе и вдруг почувствовал, что один из бородачей пристально смотрит на меня. Что-то знакомое мелькнуло в чертах его лица — глубокие морщины и синева в глазах. Чем-то неуловимо он отличался от остальных. Я подошел ближе.

— Привет! — крикнул он на чистейшем русском языке. И я к глубокому своему удивлению узнал Чермака. Мы бросились друг к другу, от он души был рад встрече, но попросил отойти в сторону и объяснил, что ему надо незаметно оторваться от своих коллег. Потом, когда он дождался общего движения к дверям синагоги, когда сумел отойти в сторону, мы сошлись в дворике за синагогой.

Через полчаса на причале мы взошли по трапу, ощущая на себе неодобрительные взгляды капитана. Я махнул рукой своему шефу, мол, потом объясню, и увлек Чермака вниз по корабельным сходням. В моей каюте на полную мощь была включена кондишка, нашлась бутылка «баккарди», и мы провели с Чермаком несколько часов, пытаюсь понять друг друга. Говорили мы на одном языке, но найти общих точек для согласия не смогли. Я узнал, что ему удалось выпустить несколько книг, прославляющих историю древнего народа.

— Мы народ книги, нами создана Библия — источник разума и света для всего человечества, — провозглашал он после первой рюмки, — только здесь я понял, что такое единение народа. Ты читал мои речи на еврейском конгрессе?

Пришлось признаться, что я не читал его выдающихся речей, но наслышан о его подвигах от Гарри.

— А-а, — протянул Чермак, — этот фотограф, мокрица, в нем ничего не осталось еврейского, он настолько обрусел, что и здесь пытается жить по российским рецептам! Представляешь, до сих пор не смог купить квартиру. Уличный фотограф! Его выперли даже из музея. Ведь он и там, среди национальных святынь, пытался выставить свои опусы! Такие, как он, хотят развратить нацию. Мы очистимся от их влияния, мы вырастим новое поколение, оградив его от эротики и рок-музыки. Что может быть блистательней фрейлихса!

Он напел мелодию праздничного танца, повел в такт ей плечами и снова потянулся к бутылке. И столько типично еврейского было в его лице, что я удивился, как раньше я мог это не заметить. И еще я подумал, что Чермак вовсе и не изменился, замени в его рассуждениях евреев русскими — и все дела. Ведь нечто подобное я слышал от него еще в далекие студенческие годы, когда он только начинал пробиваться в писатели, хотел стать оракулом и к цели мчался на белом коне шовинизма, изничтожая по пути тех, кто подозревался в инородстве. Не все ли равно за чистоту какой расы бороться — конь остался прежним. И вот уже совсем захмелевший он долдонит свое: засилие арабов, инородцев, в литературу лезут те, кто пишет на русском, нужно очищение... Он весь в борьбе, он счастлив...

Но я ошибся, вряд ли он был уж настолько счастлив. После пятой рюмки глаза его повлажнели, он заговорил о том, что человека, как личность, образует не только общество, его создает ландшафт. Я сначала не понял его, и только потом, когда он стал расспрашивать меня о моем отпуске, о том, собирал ли я грибы, я догадался — и ему ведь несладко, и его гложет ностальгия.

— Здесь тошно, — пьяно бормотал он, — Вавилон, проклятый Вавилон, из которого не выбраться. Смешение всех народов. Мы все вечные эмигранты!

В пьяном его бормотании было много истины. Он прав, думалось мне, все началось с Вавилона. Бог, видя, что люди могут достичь неба, выстраивая свою огромную башню, испугался и придумал коварную шутку — он смешал все языки. И теперь, когда опять пытаемся мы достичь неба, войдя в космос, Бог тоже не дремлет, он насылет на нас шовинистов. Он поощряет их. Он не наказывает зло.

Здесь, может быть, я оказался не совсем прав, потому что, когда мы сходили по трапу на причал, Чермак поскользнулся и всей

тяжестью своего тела шмякнулся на свежестругауные доски, лежащие на берегу. Хорошо, что я сумел немного задержать его падение — иначе не миновать бы ему морского купания. Вахтенный, заметив нашу возню подле досок, смачно выругался и бросил вслед удаляющемуся Чермаку: «Ходят здесь всякие пархатые! Мать их в качель...»

Был ли вахтенный антисемитом или это просто вырвалось у него от тоскливого стояния на жаре, не знаю. Чермак, он не вызывал симпатий и у меня. Когда-то он был мне близок, а теперь все перевернулось, и рушатся башни Вавилона.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Расстояние между судами все увеличивалось, Последний швартовный конец шумно плюхнулся в воду. Стоял абсолютный штиль и чайки, сидевшие на зеркальной поверхности воды, казались вылепленными из воска. Плавбаза «Кронштадт» начала подрабатывать винтом и разворачиваться на правый борт, на транспортном рефрижераторе «Колпино» вахтенный врубил тифон, нарушив тишину утра протяжными гудками. Суда расставались в океане. Транспорт, перегрузив в свои трюма рыбу с плавбазы, снимался с промысла.

Туман, стоявший всю ночь, рассеивался, и над водой стелилась легкая белая дымка. Тропическое солнце поднималось все выше и ощутимо накаляло палубу. Все вокруг было залито ярким светом, Люди, стоящие на палубе, были отчетливо видны на фоне ослепительно белых судовых надстроек.

На «Колпино» уходила в порт буфетчица плавбазы Катя Астахова. Она стояла одна на палубе носовой надстройки и пристально смотрела на отходившую плавбазу. Человек, которого без труда отыскала взглядом, не поворачивался в ее сторону и ни разу даже не взмахнул рукой на прощание. Он стоял на мостике, окруженный своими помощниками, возвышаясь надо всеми. Недаром за рост его еще в мореходке прозвали фитилем, вот и прилепилось к нему с тех пор это прозвище. Конечно, в глаза называть его так никто не решался. Начальник промысла он, Вагин, был облечен здесь почти безграничной властью, все то, что связывало его с Катей Астаховой, никого не должно было интересовать. Начальник промысла должен быть во всем безупречен.

Катя заметила, как Вагин отделился, отошел от своих помощников, спустился на шлюпочную палубу и здесь, скрытый от посторонних взглядов корпусом разъездного катера, поднял руки над головой. Этот жест был предназначен ей, и что-то дрогнуло, оборвалось внутри... Она замахала рукой: ей некого было стесняться, ее никто не знал на «Колпино». И кому какое дело с кем она прощается. Может, просто со своей плавбазой. Четыре месяца она работала там: изо дня в день ранние подъемы, камбуз, салон, подвахты и авралы, затаренные остро пахнущие пряностями бочки, и рыба, рыба непрерывным потоком, не дающая рукам ни минуты отдыха, скользкая, бьющаяся в последних судорогах... И соленые шутки матросов — обработчиков в рыбфабрике. Молодые, здоровые мужики. Мужчины без женщин. После каждого рейса она решала твердо — пора списываться на берег, а теперь тем более пора — уже за тридцать. Женщина должна сидеть дома, это удел мужчин — странствовать по морям, что-то искать всю жизнь. Это в их натуре — непостоянство...

Но на берегу она чувствовала себя чужой, неприкаянной. Близких подруг не было, а те мужчины, которые на судах подолгу смотрели ей вслед и пытались добиться ее благосклонности, здесь старались ее не замечать, при встречах лишь сухо кивали, а если шли с женами, то вообще делали вид, что не узнают. За какой жар-птицей носило ее по морям? Заработок — ну что ж, это конечно тоже нужно, но теперь — кооперативная квартира, ковры, японская аппаратура — все есть, а до чего тоскливо среди всего этого сидеть и ждать неизвестно чего и смотреть, как меняются светящиеся цифры на электронных часах. И если бы не Вагин, не их любовь, разве прошли бы эти годы в морях...

И теперь, когда она приходила после рейсов домой, оставалась без него, все теряло для нее смысл. Город после ухоженных европейских портов, где доводилось ей побывать, казался заброшенным и вымершим. А ведь он мог быть таким же, к примеру, как Любек или Гамбург, ведь был когда-то не хуже. Но никто не захотел восстанавливать его прежний облик. Жили здесь будто временно, как бы в ожидании очередных рейсов. Когда ее привезла сюда тетя Зина, вытащив из захудалого и грязного детдома, о как она радовалась... Перед ней открылся совсем другой мир, дом — где можно было сытно

поеть, двор, где можно выбирать друзей. Вокруг было полно развалок, заброшенных полупустых домов, мальчишки находили там патроны, каски и всякие другие диковинные вещи. В этих развалках она пряталась, когда тетя Зина в первый и последний раз отлупила ее ремнем за разбитую чашку, а потом ходила всю ночь и кричала: Катенька! Катюша! Катюша!..

Сейчас разобрали эти развалины, и киношники перестали приезжать в город, не устраивают уже своих выдуманных боев, да и не хотят люди смотреть фильмы о войне. Нет уже тети Зины, не перед кем поплакаться, да и стоит ли, кто на берегу поймет, что такое морская жизнь...

Морская жизнь. Как давно она началась. Тогда, в самом ее истоке, еще ничего не понимала — принимала каждое слово на веру, проще все было, и чувства были ярче, светлее. Пятнадцать лет назад. Целая жизнь вместились в эти пятнадцать лет — три океана и морей без счета. Застенчивый штурман превратился в грозного начальника промысла. А она осталась судовой буфетчицей. Надо было родить раньше, сразу. Испугалась, что скажут люди: одна, с ребенком, как вырастить его без отца?! А Вагин ведь тогда остался бы с ней — стоило захотеть... Он ведь не на виду еще был, не как сейчас, да и с женой своей хотел разойтись, ничего их вроде не связывало: случайно, как бывает в молодости, расписался, сразу после окончания мореходки, потом, уж видно, раскусил что к чему. Вот тогда-то и надо было не таиться, не скрытничать, пойти к его жене и открыть все. Не решилась — и ушли, убежали, растаяли как след за кормой те годы, и вроде бы, к ним не должно было быть возврата. Но жизнь идет по спирали, как говорит Вагин, и вот все повторяется, словно бобину с пленкой перекрутили и запустили фильм сначала — так обычно делают киномеханики в судовом салоне, когда наступает тоска от безрыбья, в тягучие дни проловов. И опять новый виток. Опять Вагин, только она уже не та восторженная девочка, только теперь не промысловый траулер и поцелуи украдкой на палубе верхнего мостика, теперь — плавбаза и каюта-люкс, куда никто не может зайти без приглашения. Но кому нужны эти апартаменты, если не вернуть уже того Вагина — молодого нескладного штурмана и их первый совместный рейс к берегам Сьерра-Леоне... Ведь тогда она, хотя и была моложе Вагина, уже не раз прошла Атлантику и

опекала его, оберегала... Уже тогда видела — какой напор в нем, какое честолюбие, и сама разжигала это честолюбие. Зачем? Нужно ли было это? Ему, может быть, да, а ей? И вот теперь он такой, каким хотела его видеть когда-то, — и в то же время совсем другой...

...База медленно ложилась на курс, уменьшалась в размерах, и Катя уже не могла различить лица Вагина, его продолговатых глаз под сросшимися бровями, его высокого лба, вьющейся, жесткой шевелюры... Транспорт вновь загудел, прощаясь с промыслом, загудел хрипло, отрывисто. База ответила протяжным сдавленным гудком.

Солнце заметно приближалось к воде — заканчивался промысловый день. На горизонте сейнера, взявшие уловы и лежащие в дрейфе с кошельками, полными рыбы, мигали прожекторами. Они ждали базу, манили ее к себе, чтобы поскорее сдать рыбу, и база, освобожденная от груза, разворачивалась к ним. С транспорта было видно, как бурлит вода за ее кормой, как изгибается на ровной глади вечернего океана ее след, белая с голубоватыми переливами пенная полоса. База медленно разворачивалась, и рубку ее заслоняли грузовые стрелы и бочки, сложенные на палубе. Различить людей на ее борту было уже невозможно.

— Ну что Вагин, прощай, — тихо сказала Катя, и к горлу подступила тошнота, как будто и не в полный штиль расходились суда, а швыряло транспорт на крутой волне.

Старший помощник на «Колпино» был совсем молодой, с холеными бакенбардами и большими, почти немигающими глазами. Он провел Катю вниз, открыл предназначенную ей каюту и пожелал спокойной ночи. Каютка была просторной, четырехместной, но, видимо, пустовала с начала рейса, и хотя все было прибрано, чисто кругом, — ощущался нежилой, какой-то больничный запах. Мерцали, отражая электрический свет, переборки, покрытые зеленым линолеумом, вдоль переборок стояли широкие, совсем не морские койки, свежие хрустящие простыни были аккуратно сложены в изголовьях, подушки она обнаружила в рундуке и одну из коек застелила. Сразу же стало в каюте привычной — появился какой ни есть, но свой угол.

Катя решила не ходить на ужин, ей не хотелось никого видеть, ни с кем не хотелось разговаривать. Ход у транспорта бойкий, узлов двадцать. Каких-нибудь восемь суток — и уже на берегу. Кому ка-

кое дело до нее: в порт идет пассажиркой, с работами судовыми не связана, почему возвращается — мало ли какая может быть причина.

Ночью Катя проснулась от того, что почувствовала — транспорт остановился: не ощущалось вибрации от работы главного двигателя, и было непривычно тихо. Она с трудом отвернула барашки задраек иллюминатора, и теплый тропический воздух наполнил каюту запахом рыбы. За бортом была такая плотная, почти осязаемая тьма, что казалось, мир заканчивался за круглым овалом, что там вовсе нет того широкого простора, который днем был залит спящим солнцем и казался необъятным. Был просто провал, черная дыра — даже ни одной звездочки. Она догадалась, что каюта расположена на самой нижней палубе — видна только вода — и она, эта ночная вода, выдавала себя легкими всплесками и журчанием у борта. Катя осторожно протянула руку к иллюминатору, словно опасаясь наткнуться на твердую и таящую опасности тьму, и придвинувшись вплотную, выглянула наружу.

Вдали, в темноте проступали слабые, вздрагивающие огоньки сейнеров, а это значило, что «Колпино» еще не ушло из района промысла, значит еще не все... Можно подняться в рубку, попросить радиста вызвать начальника промысла. Вот удивится Вагин, услышав ее голос в эфире, и все вахтенные на судах вольно или невольно станут свидетелями их разговора. Но будет ли он, этот разговор? Никто, конечно, не решится ради нее поднимать, беспокоить начальника промысла. Спросят: по какому вопросу? А что она ответит? Мол, решила вернуться и нужно его согласие... Почему же его? Разрешить возврат буфетнице может и старпом, сейчас ведь его вахта...

Но как раз с ним-то, со старпомом плавбазы, ей говорить не о чем. С самого начала рейса терпеть не могли друг друга, Старпом считал себя неотразимым. Да и уж так повелось на рыбацком флоте, имел старпом право на всех буфетчиц, кастелянш и прачек. Писал для них характеристики в конце рейса, попробуй откажи — так изобразит все, что прощай виза и не видать тебе заграничья. Так и с уродцем пойдешь, куда прикажет, а этот даже очень ничего был. Может, кому-то и нравился, но только не ей: уж больно улыбка слащавая... Мужчина всегда должен оставаться мужчиной, а не превращаться в лакея. Пожалуй, она больше уважала его в начале рейса, когда угрозами он пытался получить свое... Ну а потом — стал сме-

шон. Когда заметил, что она иногда возвращается от Вагина ночью в кормовую надстройку, стал угодливо заискивать, понимающе по-сматривать. И не выдержал — отомстил на прощание. В самый последний момент, когда она шла к сетке на пересадку. Вагин не спустился вниз проводить, помочь донести вещи... Сослался на то, что у него срочный промысловый совет, хотя никакого совета в этот час не было, просто не хотел, чтобы видели их вместе. Она сама несла чемодан, и сопровождающий ее старпом даже не предложил помочь. А когда засунула чемодан в сетку и ухватилась за вздрагивающие троса, процедил презрительно: «Фэтон подан, отгуляли мадам. Долго таких никто при себе не держит! Да и партком всегда начеку!» «Пишите письма!» — ответила ему и подивилась своей дерзости, раньше бы смолчала, а теперь — терять нечего...

Проснулась Катя рано. Она привыкла к тому, что в море буфетчица должна подниматься раньше других. Сегодня впервые никаких судовых забот и обязанностей у нее не было. Место за столом ей определили в салоне комсостава — таков уж порядок в море: если ты пассажир, независимо от ранга, завтракаешь, обедаешь и ужинаешь вместе с судовыми командирами, на правах гостя.

Буфетчицей на «Колпино» была милая совсем юная девочка, похожая на стрекозу. Действительно — глаза выпуклые, черные, высокий узорчатый кокошник короной украшает смолистые волосы, а главное — движения легкие, быстрые — так и летает от стола к столу. Буфетчицу звали Милой, Кате она сразу понравилась. Было только непривычно и неудобно сидеть без дела, смотреть, как Мила работает, как подносит и ей, Кате, еду наравне со всеми. Катя опять вспомнила тот рейс, когда впервые она встретила Вагина, тоже ведь была в те времена такой же подвижной и легкой, как Мила. И каким желанным и прекрасным все было в море, и первая любовь, любовь — для нее на всю жизнь, а для Вагина? Ведь, как было потом, по году не виделись, так получалось — на разных судах в разных районах, и как проблески счастья — встречи в океане, совпадение рейсов. Искал ли он этих встреч? Его ведь тоже надо понять — всегда найдется недовольный тобой или штатный стукач, донесет куда следует — и конец морям-океанам...

Рядом с Катей за столиком сидели радисты. Один из них молодой, но слишком уж располневший, ел быстро, как будто

кто-то его торопил, ел и успевал говорить. Как и все радисты на флоте — соседи по столику знали обо всем. Двое других молчали и лишь изредка с любопытством поглядывали на нее.

— Вот так нас, дурачков, нажгли, — продолжал толстяк, — на черта нам это мизер пресервов! Так нет, стоп машина, и догружайся! Теперь жди эту «Яшму», будь она неладна!

— Двое суток, как пить дать, теряем, — поддержали его с соседнего столика.

Катя прислушалась к разговору. О задержке на промысле уже говорили почти за всеми столиками.

Потом и на палубе она слышала, как недовольно чертыхались матросы, настроенные на скорую встречу с берегом. Ей было уже все равно — днем раньше, днем больше, значит небесам так угодно, чтобы зародилась жизнь. Это Вагин торопил, все подсчитывал дни. Понял, что она уже не та влюбленная девочка, которая во всем с ним соглашалась. Четвертый месяц, времени в запасе нет... Думать о том, что произойдет, ей не хотелось. Пусть все идет, как идет. Хорошо бы, «Колпино» оставили на промысле еще хоть ненадолго, тогда и решать ничего не надо, не один знакомый врач не поможет.

Она смотрела с высокого борта транспорта на утреннюю зеркальную поверхность океана, на силуэты промысловых судов, тающие вдаль, за линией горизонта. Среди сейнеров медленно передвигалась база, собиравшая утренние уловы. Все это было ей знакомо — и то, как база осторожно подходит к сейнеру, прикрывая его подветренным бортом, и как на сейнере начинают стягивать, а по морскому — подсушивать невод, а в этом неводе стиснутая сетями бурлит и бьется рыба, задыхается, трется чешуей друг о друга, застревают в ячее, пытаясь вырваться. На сейнерах всегда с нетерпением ждут подхода базы: быстрее сдашь улов — быстрее пойдешь в новый замет, да и вообще стоянка у базы праздник для матросов, каждый из них ждет предлога для того, чтобы попасть на борт базы, ведь на сейнерах нет женщин...

У нее никогда не завязывались знакомства с матросами кошельковых судов-ловцов: во-первых, за ее спиной, как тень, всегда был Вагин, даже если в это время он занимался промыслом совсем в другом океане, во-вторых, это не для нее — случайные суетливые встречи... Сейнер сдавал рыбу обычно часа четыре, потом отходил

об базы и торопливо бежал искать новые косяки, а женщина оставалась на базе, где все знали о ее встрече и нередко зло подшучивали над ее увлечением. Наверное, и на «Колпино» тоже нашлись бы остряки, узнай они истинную причину ее возвращения в порт.

Катя напряженно глядявалась в силуэт базы, подошедшей к сейнерам, стараясь угадать, ее ли это «Кронштадт» или это другая однотипная база. Как там сейчас Вагин? Успокоился, наверное, доволен, что вышло так, как он захотел, что добился своего и сейчас занят, как всегда, суматошными делами промысла: уговаривает «Колпино» принять дополнительно груз пресервов, ругается с промысловиками, норвящими сдать улов без очереди, распределяет топливо с очередного танкера... Он всегда делился с ней своими заботами, и она уже не мыслила его без этих забот, и очень понимала, как необходимо ему перед кем-то исповедоваться. Он вслух взвешивал свои действия, решения... Она всегда принимала его сторону, так, по крайней мере, наверное, казалось ему. Катя боялась ссор — они виделись не так уж часто, и было бы глупо омрачать встречи размолвками. Но когда он бывал слишком крут, несправедлив, — она старалась исподволь, осторожно повлиять на его решение, смягчить его, успокоить.

Помнится, лет пять назад, в Северном море он принимал на борту своей плавбазы высокое начальство. Дела на промысле складывались не ахти как, и вот сам Тубенко, начальник управления, решил навести порядок. По характеру еще более горячий, чем Вагин, он стал резко вмешиваться в работу капитанов, принимал решения сам, ни с кем не советуясь, — промысел будоражило. И вот этот Тубенко прибыл на плавбазу. С необычайной легкостью, несмотря на тучность и возраст, вскарабкался по раскачивающемуся трапу, и сразу же, едва ступив на палубу, накинулся на Вагина. При людях Вагин смолчал, а потом у себя в каюте высказал своему шефу все, что о нем думал. В общем, нашла коса на камень.

«Завтра же подам рапорт, пусть этот чиновник сам встает на капитанский мостик, пусть загонит и базу, и весь флот в полный прогар! — кипятился Вагин. — Он ходил в море, когда сети вручную трясли, когда СРТ считались крупными судами! Представляешь, дал команду переходить к вестовым банкам... Он угробит там флот в первый же шторм! Это раньше там ловили — тогда какая

осадка у судов была — два-три метра! А сейчас уже все — финиш! Сейчас на глубинах надо работать!» «Ты прав, — успокаивала она его, — ну хорошо, подашь рапорт, спишешься, флот будет, как ты говоришь, в прогаре. Кто от этого выиграет? Промысловики тебя знают, тебе доверяют, у них у всех семьи... Подожди два-три дня, вот увидишь, Тубенко долго не пробудет здесь, он не глупый человек, просто у него свои амбиции...»

Вышло, в конце концов так, как она и предполагала. Тубенко покинул борт плавбазы, смолк его голос в эфире, флот заработал спокойно, без нервотрепки, и план взяли, и все было в порядке. Недаром Вагина считали удачливым капитаном, был у него особый нюх на рыбу и только одному ему известные приметы. Но море есть море, всякое бывало, были случаи похлеще, чем с Тубенко... И пожары вспыхивали, и на мель выскакивали — все было, и всегда она старалась быть рядом с ним, Вагиным, и старалась сделать так, чтобы он верил в свои силы, и свою удачливость. И потому любил он повторять: «Ты для меня, Катюша, как талисман!»

И о чем только не переговорили они в долгие рейсы, каждый из которых по-своему запомнился ей. Раньше, в первые рейсы, для таких разговоров им не хватало времени. Редко выпадало остаться наедине. Каждой встречи она, тогда еще совсем девчонка, ждала с замиранием сердца. Но с самого начала их отношений все время надо было таиться. Ведь на каждом судне обязательно кроме капитана был еще и первый помощник, человек обычно не сведущий в морском деле и не занятый никакими судовыми работами, но бдительно подсматривающий за всеми. От него зависело — выпустят ли тебя в следующий рейс или вызовут на комиссию в партком, где любопытствующие старцы будут, истекая слюной, выпрашивать подробности твоей любви. Да и кроме первых помощников были доброты, обделенные жизнью, и готовые все сообщить, куда следует. Все зависели от этих наветов... Но теперь это ушло, теперь Вагин был не для их зубов...

В этом рейсе у Вагина, как у начальника всего промысла, была на плавбазе самая просторная каюта-люкс, отделанный под ореховое дерево кабинет, спальня с такой широкой кроватью, что и на берегу не в каждом доме встретишь, а главное ванна — о чем еще мечтать?! И никто не мог зайти, не предупредив заранее, правда часто звонили по судовому телефону. Звонок был резкий, похожий на сиг-

налы аврала. Поначалу он очень пугал ее — хотелось быстро вскочить, сжаться в комок, стать невидимкой. В принципе, ей нечего было бояться, просто, видимо страх этот уже вьелся в кровь, да и Вагин всегда слишком нервничал, ей всегда передавалось его настроение... Власть не раскрепостила его, напротив, он стал в отношениях с ней, Катей, еще более осторожным, и это теперь не только раздражало, но и злило... Уже не екало сердце, не томило сладкое предчувствие в день свидания, что-то отошло в прошлое, что-то стало привычным... И надо было очутиться в его объятиях, почувствовать крепкие руки на плечах, чтобы опять все растаяло и налилось нетерпением... Любовь требует встреч, ей вредны долгие разрывы во времени... Может быть, если бы они были вместе на берегу, все было бы по-другому, но Вагин всякий раз, когда об этом заходила речь, объяснял, что сейчас не время: то долгие годы болела его жена, то теперь сына надо поднять на ноги, вот окончит институт, тогда...

Все он объяснял убедительно, но только теперь, в этом рейсе, Катя, как совершенно очевидное, осознала, что нужна Вагину только в море. Встречи на берегу, убедилась она, не много значили для Вагина. Вся их настоящая жизнь проходила здесь, в Атлантике. И получалось, что только в море Катя и чувствовала себя человеком, необходимым в общем течении событий... Она всегда четко выполняла свою работу, была обходительна, терпелива, старалась не поддаваться сиюминутным настроениям, старалась быть ровной со всеми. Мужчины, как дети, требовали постоянного ухода. На малых судах-ловцах, где обычно не было женщин — царили хаос и запустение, люди не брились, бродили по палубам почти нагишом, через слово — мат, на базах же и транспортах присутствие женщин заставляло почти всех соблюдать приличия, ежедневно бриться, гладить рубашки, застилать койки в каютах. По заведенной традиции она, Катя, буфетчица верхнего салона, убирала каюты комсостава, следила за чистотой и при помощи старпомов добивалась наведения почти идеального порядка.

Такая уж была ее планида — ухаживать за другими. Обычная детдомовская девчонка, которую приютила и пригрела крикливая, но добрая тетка Зина, у которой своих детей было полно. И оказалось, что лучшей няньки, чем Катя, не сыскать. Давно уже нет тетки Зины, обзавелись семьями ее дети, разъехались кто куда, осталась

здесь только Варя, у которой тоже полно детей. Живет она в поселке, что образовался на месте старого немецкого городка, имеет свой дом, и кажется все у ней есть, но гложет Варю какая-то зависть, все ей кажется, что обделила ее жизнь. Про таких Вагин говорит: человек очереди — все время чего-то ждет, все жалуется — не досталось, не хватило. Совсем чужой она стала, ближе даже матросы, с которыми ходила Катя в очередной рейс. Любит Варвара лишь подарки, жадно рассматривает заграничные одежки, благодарит подолгу, и в душе, конечно, осуждает, да и открыто злословит, стоит только выйти за порог. Единственным дорогим для Кати человеком был сынишка Вари — большеголовый Даня. С ним любила играть, когда тот еще был совсем малышом, часами читала ему сказки, а потом, когда Даня пошел в первый класс, рассказывала ему всякие морские истории, которые он слушал, затаив дыхание. И вот сейчас Даня в пятом классе, и не только внимает ее рассказам, но и сам делится заботами — школа, друзья, волейбол. Ей все интересно, и Даня это чувствует ведь! Даня, Даня — добрая душа!.. Говорит как-то: «Переезжай к нам, ты, наверное, устала от своей работы, будешь жить в моей комнате, места хватит!» Как ей приятна его забота, если бы он знал. Значит, не из-за подарков прикипел к ней пацан, каждый раз ведь привозит ему из далеких рейсов то кубик-рубик, то компьютер миниатюрный, то магнитофон — видит, как горят глаза у мальчишки, и вот выходит, не нужны ему в будущем никакие дары — лишь бы была рядом...

Варвара занята, работает сутками на мукомолке, муж непутевый — вечно пьяный, она устает, на сына кричит. Как-то остановила ее, пытаясь защитить Даню, та вспылила: «Своих воспитывай! Небось, слаще в морях с мужиками болтаться на всем готовом, чем обузу на себя взваливать!»

Попробовала бы сама эту сладость! Разве объяснить, как трудно перенести изматывающую тело качку, как трудно привыкнуть к бездомью, к житью с напарницей в одной каюте, к едкому запаху аммиака в рыбцехе, а главное к тому, что вокруг тебя сплошь большая вода — без конца и без края... Если бы не Вагин! Давно бы все бросила, давно бы прибилась к своему берегу...

...К полудню на «Колпино» просто некуда было деться от жары. Что-то разладилось в системе кондиционирования, и в поисках про-

хлады люди потянулись на верхние палубы. Солнце повисло над головой раскаленным сгустком, палубный настил жег ноги. От глянцевого пространства воды солнечные лучи отражались, как от зеркала, и океан, который, казалось, должен был приносить прохладу, сам превратился в источник тепла. На юте был бассейн, Катя слышала, как плещутся там свободные от вахты матросы, как звонко они перекликаются. Зажмурь глаза и представится озеро в лесу за поселком, где живет Варвара, и уже не матросы, а дети барахтаются там в живительной и прозрачной воде.

Катя подошла ближе к бассейну. Вода в нем была притягивающей и манящей и сквозь ее голубизну было видно дно, выложенное кафелем. Захотелось сбросить липнувший к телу сарафан, окунуться, плавать и смеяться во всемя, но мысль, что могут заметить, понять по ее полнеющей фигуре причину полноты, эта мысль остановила ее. Она решила, что в душевой вода много холоднее и решила спуститься туда.

Катя не ошиблась. Колкий живой поток прохлады хлынул на разгоряченное тело. Она откинула голову, чтобы не мочить волосы, подняла руки. И вдруг стало на душе спокойно, как будто водяные струи уносили куда-то все ее огорчения и сомнения. Холодная вода, прямо как из родника, — подумала она, — удивительно, как это вода, пробежав по судовым системам, не нагрелась. После такого душа хорошо будет забраться в постель, забыться, не думать ни о чем. Каких-нибудь два-три дня на перегрузку с «Яшмы», потом самый полный ход, неделя — и берег... Может быть, это наконец-то последние десять суток ее морских странствий!

Но уснуть ей не удалось, — кто-то тихо постучал в дверь. Катя накинула халат и открыла. В каюту осторожно впорхнула Мила. Она была в очень короткой юбке, открывающей тонкие стройные ноги, и в цветастой кофточке с оборками. Совсем юное создание, девчонка — школьница, да и только.

— Ах, боже мой! — воскликнула Мила еще с порога.—Я смотрю, нигде вас нет, поначалу даже испугалась, всех спрашиваю — никто не знает! Да и я толком ничего не знаю!

— Садись, буду рада познакомиться, — сказала Катя.

Мила не заставила себя упрашивать и непринужденно уселась на койку, поджав одну ногу под себя, и начала говорить без остано-

ки... Катя слушала, кивала, изредка поддакивала. Раньше она вот так же, как Мила, была готова открыть душу первому встречному, обожала своих кратковременных подруг на судах, готова была все для них сделать, пока несколько раз не обожглась. Разные бывают женщины в море, что греха таить: кто за легкой наживой в путь пускается, кто личную жизнь устраивает, да мало ли какие причины в море гонят! Ей вот в одной рейсе «повезло» — попалась напарница — с виду, вроде, душа-деваха: и простая, и случайных связей сторонится, хотя многие к ней клинья подбивали. А она хоть бы что, усмехается только: «Я уже десять лет хожу в моря, у меня на мужиков аллергия!» И Катя раскрылась перед ней, разоткровенничалась, так захотелось поделиться с кем-нибудь, а после этого - житья не стало. Как будто подменили напарницу — пошли намеки, подковырки, даже угрозы. А всего-то и нужно было этой соплавательнице — ее, Катю, запугать, чтобы молчала, потому что обнаружилась и у нее тайна: приспособилась на камбузе брагу варить, да матросам за заграничные шмотки сбывать. Не выдержала Катя, про совесть ей напомнила. «Кто бы мне указывал!» — рассмеялась в ответ напарница. И вот впервые пошла Катя на открытую схватку... Что тогда началось! Война настоящая. Пришлось все-таки рассказать Вагину, надо было, спивались матросы. Он, конечно, сразу все на свои места поставил: напарницу эту списал, отправил в порт. Мало этого, — вслед за ней послал рапорт и требование: передать дело в суд. «Я в партком пойду, все узнают чем вы здесь занимаетесь!» — угрожала напарница, уже когда у трапа с вещами стояла. «Не бойся, — сказал Вагин Кате, — пусть идет, куда хочет, на флоте ей делать нечего!» Смелее он был тогда, за себя не опасался...

Вот так она, Катя, в первый раз получила урок от жизни! Вспоминала она сейчас все это, слушая Милу, которой все в новинку, все кажется прелестным и чудным — и океан — ах, какая ширь! — с ума можно сойти, и матросы на «Колпино» — ну просто один к одному парни, и особенно старпом — это только по большому секрету: влюблен в нее начисто, настаивает даже, чтобы расписались после рейса и жили вместе и на берегу.

— А там, на берегу, его никто не ждет? — спросила Катя.

Мила будто споткнулась на бегу, покраснела:

— Там не в счет! Он ведь не знал, что встретит меня, он уже и

радиограмму ей дал, что между ними все кончено...

«Странно как все повторяется, — подумала Катя. — Вон ведь сколько матросов на «Колпино» — молодых, неженатых, так нет, почему—то именно старпом...»

— Идемте ко мне, — предложила Мила, — кофе попьем, посмотрите как живем: с кастиляншей в одной каюте. Она добрая такая, только старенькая, лет сорок наверно... Ходит в море очень давно, а все привыкнуть к качке не может. А я вот сразу поняла, как надо переносить болтанку: я в шторм ем много и пою. Все песни, что помню, перепою! Меня морская болезнь и не берет!

— Ты молодец! — похвалила Катя. — А я сначала никак не могла приспособиться. На траулерах ходила, а те как с волны опустит— все внутри обрывается. А посуда!., летит со стола, как живая, хоть и скатерть заранее намочишь, и штормовки по краям стола поставишь. Тарелок за рейс разобьется — пропасть, попробуй на берегу списать...

— Меня звали на траулеры, а я испугалась: говорят, там так бывает, что женщина одна на судне! А с Вагиным вы тоже на траулерах встретились?

Мила почувствовала, что спросила что-то не то, и заторопилась:

— Идемте же, да не слушайте вы меня! И только не обижайтесь, пожалуйста!

Катю словно водой холодной окатили. Вот такие секреты на промысле, а Вагин надеется, что никто не знает!

На палубе их ослепило яркое солнце, на небе по-прежнему не было ни одного облачка. «Колпино» лежало в дрейфе. У носовой тамбучины они заметили группу судовых командиров, смотревших на воду. Матросы, игравшие в волейбол на кормовой надстройке, прекратили матч, столпились у лееров и тоже вглядывались в океанский простор.

Вдали, на зеркальной поверхности прыгал, как водяная блоха, юркий разъездной катер. Он ходко бежал к «Колпино», на глазах превращаясь из едва различимой точки в нечто рельефное. Вот уже стали видны люди на его борту, и Катя смогла прочесть надпись — «Кронштадт». Значит, вестник оттуда, с ее плавбазы.

— Идем же, ничего интересного! — протянула Мила. — Опять продукты станут выпрашивать, знаю я их!

Но Катя как будто прилипла к палубе, что-то захолонуло внутри. Вдруг Вагин опомнился, понял все...

С борта «Колпино» спустили трап, старпом подергал, проверил - прочно ли закреплен, что-то сказал пожилому матросу, по-видимому, боцману. Похожий на тюленя капитан «Колпино», не вынимая изо рта коричневой трубки, подошел вплотную к фальшборту. Катер притирался к борту, на выраже взметнул веер брызг и замер точно в том месте, где был опущен трап. Катя шагнула к леерам и сразу увидела Вагина. Видимо, до этого он стоял за рубкой катера, а теперь перебрался в нос, готовясь ухватиться за трап. Катя видела, как ловко он поймал канат, подтянулся, точно встал ногой на перекладину, а через мгновение уже показался над планширем. К нему потянулись руки — помочь, но он опередил всех и легко прыгнул на палубу.

Катя замерла. Взгляды их встретились, и она поняла, что Вагин заметил ее, даже не сейчас, а еще раньше — с борта катера.

— Катя, Катя, я зову, зову тебя, а ты? — Мила дергала ее за рукав. Но в это время Милу отвлек старпом, подозвал к себе, что-то долго объяснял. А Вагин улыбался и здоровался с судовыми командирами. Мила кивнула головой, мол все ясно, отошла от старпома и сказала: «Катя, дорогая, поможете мне стол накрыть, это же сам Вагин!»

Стол сервировали в просторной капитанской каюте. Неведомо откуда появились ярко-желтые апельсины, на камбузе срочно отваривали креветок, технолог принес сочные рулеты из скумбрии, но главным украшением стола была красная икра. В последний момент хватились — нет салфеток. Мила побежала к себе в каюту, за ней неотвязно, как тень, последовал старпом: он отвечал за подготовку стола и это давало ему повод быть все время рядом с Милой.

Катя смотрела на них и казалось ей, что видит она самую себя, ту очень давнюю, вышедшую в первый рейс... Старпом обращался к Миле хотя и официально — Томила Вячеславовна, так оказывается ее звали, но в голосе его совсем не было начальственных ноток, напротив, слова произносились тихо, почти нежно и каждое наполнялось особым смыслом и значением. «А ведь он в нее влюблен по-настоящему, — подумала Катя, — да и Мила тоже, просто тает...»

Когда старпом и Мила вернулись с пачками салфеток, Катя заканчивала приготовление своего «фирменного» салата из креветок.

Конечно, Вагин поймет, что сделала этот салат она, не стоило бы так стараться, но что поделать, привыкла делать все добросовестно.

Старпом что-то шептал Миле. Катя не прислушивалась — пусть милуются, их время, — но шепот был какой-то настораживающий, чем-то Мила была недовольна, она молчала, улыбка с ее лица исчезла, но серьезной она показалась Кате еще красивее.

— ...Ну нельзя же так, при людях! — услышала Катя слова Милы, — Вот кончится рейс, решишь все — я это уже сто раз говорила... Нет, к тебе я не пойду...

Катя кашлянула: ей стало неудобно быть свидетелем их разговора, и в то же время какое-то удовлетворение родилось в ней: молодец Мила, вовсе это не стрекоза, оказывается, орешек-то крепкий! Так и надо — с самого первого рейса так и надо, это не то что я — сразу потеряла голову...

Мила тем временем подошла к ней, улыбнулась, как ни в чем не бывало. Катя одобрительно кивнула ей и подала тарелку с салатом. Надо было спешить, чтобы закончить все приготовления до прихода Вагина и незаметно уйти. Так она решила... И все-таки не успела!

Заслышав голоса и шаги, по трапу, ведущему к капитанской каюте, Катя скользнула в буфетную и решила — в каюте капитана больше не появляться. Из буфетной, расположенной в салоне состава и примыкающей непосредственно к капитанскому блоку, она слышала, как усаживались за стол, продолжая спор, начатый на палубе и в трюмах, куда капитан водил Вагина, чтобы тот сам убедился, что свободного места не осталось. Вагинский голос перекрывал остальные. Говорить и убеждать он умел. Но капитан «Колпино» не сдавался, он произносил фразы медленно, слегка грассируя, но настойчиво.

— И снова утверждаю, уважаемый Василий Игнатьевич, хотя вы и начальник здесь, и утверждаете, что вам виднее, мы не будем подходить к «Яшме», и не только потому, что пресервы мы взять не можем, а еще и потому, извините, что транспортный флот, в отличие от ваших любимых траулеров, имеет строгий график эксплуатации, нас по приходу ждет док, за который мы бились давно. Учтите, обрастание съедает у нас целых три узла!

— Это ваши проблемы, — возражал Вагин, — я уже объяснял положение на «Яшме». Пресервы там начали делать по собствен-

ной инициативе, главк это одобрил. Я обещал выгрузку. Пресервы — это деньги, это наш план. А вы хотите все сорвать!

Катя подошла вплотную к переборке, вслушиваясь в спор. «Значит, это Вагин задержал транспорт, — поняла она, — но ведь это же против него, ведь ей нельзя задержаться даже на несколько дней. Может быть, он передумал?»

— Я хочу заметить, — продолжал капитан «Колпино», в его голосе теперь проскальзывала нервозность, — вслед за нами идет «Неман», исключительно быстроходный транспорт, через сутки он будет здесь и тогда...

— «Неман» остановлен в Ирландии, — перебил Вагин.

— Передайте тогда пресервы на любой траулер, снимающийся с промысла, — предложил кто-то из сидевших за столом.

— На траулерах нет емкостей, приспособленных для перевозки пресервов, — парировал Вагин.

Катя слушала знакомый голос, понимала, что Вагин, как всегда, прав, но мысль, что сейчас его волнует только «Яшма», была уж слишком обидной. Незаметно Катя покинула буфетную и быстро спустилась по трапу. Когда она шла по палубе к кормовой надстройке, ей казалось, что все матросы, встречающиеся на пути, знают о ней и Вагине, об их отношениях, и смотрят насмешливо вслед.

В каюте она заперла дверь и, не раздеваясь, легла на койку. Значит, поняла она, Вагин не специально придумал эти пресервы, так сложились обстоятельства, над которым даже он не властен. Но как же это? не подойти, не сказать даже двух слов... В это не хотелось верить. А может быть, он сейчас ищет ее, спросить ни у кого не может... Такое у него положение: начальник промысла, непогрешим, незапятнанная репутация. Это только покорная дурочка, как она, могла любить его столько лет. могла всех отвергать ради него. Ведь, как был влюблен в нее капитан «Турмалина» Ахат, грустный и немногословный Ахат, как было с ним спокойно и хорошо. Так нет, и здесь появился Вагин, как будто почувствовал, что она уходит из его жизни, и уходит навсегда. Это ведь надо, какое получилось совпадение — работал тогда Вагин с флотом у берегов Южной Америки, а на подмену шел к Дакару, где уже был заказан ему билет на самолет. И вот пересек Атлантику на быстроходном транспорте «Пассат» и надо же — невероятное совпадение — вышел точно к борту

«Турмалина» этот транспорт. Ветер тогда был сильный, ключьями срывало пену с волн, штормило, не утихая, целую неделю — все равно и в такую погоду подошел на шлюпке. Она была в каюте у Ахата, когда по судовой трансляции объявили: «Ахат Ибрагимович, начальник промысла просит». Ахат позвонил в рубку: «Скажите, что капитан отдыхает, выйду на связь позже». «Да здесь он, у нас на борту, просит в рубку подняться,» — растерянно сообщил вахтенный.

После той встречи два года она с Вагиным не виделась. Вагин хоть и не показал вида, был взбешен... наконец-то почувствовал, что такое ревность! «А мне каково все время помнить о твоей жене», — сказала она ему тогда, на «Турмалине». Конечно, досталось Ахату за непорядки на судне, — Вагин есть Вагин...

И все-таки ей ни с кем не было так хорошо, как с ним, и в море, и на берегу. Правда, встречи на берегу были столь редки, что их можно пересчитать по пальцам. И Вагин на берегу был все время каким-то настороженным, все время оглядывался, когда шли по улицам, старался выбирать безлюдные переулки. Квартира у нее появилась только недавно, условия, конечно, не те, что в море... Были у них, правда, и свои заповедные места: прямо в центре города — остров, на котором стояли руины собора, не разрушенные только потому, что примыкала к ним могила великого философа. Когда-то весь плотно застроенный домами — теперь этот остров представлял из себя нечто вроде парка, тихого и пустынного, Вагин любил это место, а ей все казалось, что кто-то за ними наблюдает, пугалась каждого шороха — может быть, это души и мысли прежних жителей витали здесь и не давали покоя... Но было и другое — домик в лесу, сосны прямо у окна, красные гроздья рябины, целая неделя — только вдвоем, как будто в сказочном сне, будто и не существовало никого в мире, кроме них. Или еще — зимой, когда нашли они заброшенный стадион: заснеженные скамейки, теннисные корты в сугробах. Им было тепло вдвоем, они как-то по-особому чувствовали прелесть той зимы, наверное, еще и потому, что не видели зимы несколько лет подряд, изнывая в январские месяцы от духоты тропиков где-нибудь у берегов Сахары. Почему-то на стадионе сохранился один единственный светильник, и снежинки искрились в его свете, будто ниспадал на землю серебряный дождь. «Ты любишь меня, Вагин, скажи, что любишь», — все время повторяла она тогда. «Но

сколько можно спрашивать», — отвечал он и крепко целовал, и был необычайно ласков в те дни...

В море было все по-другому, но и в море надо было таиться... Приходить в его каюту так, чтобы не заметили, сдерживать себя, говорить шепотом, — корабельные переборки слишком тонки... Только на пустом заснеженном стадионе можно было громко смеяться... И вот дождалась: после стольких лет, после стольких дней и ночей: «Не вздумай затягивать дольше!» Она не выдержала — и заплакала. Он стал ласковым, утешал, весь день ходил рядом, не обращая внимания на косые взгляды своих помощников, пока, наконец, не уверовал — все будет так, как он хочет...

Включили кондиционирование, тихий шелест наполнил каюту, наконец-то стало прохладно. По судовой трансляции объявили: «Команда приглашается на ужин». Катя встала, выпила стакан сливового сока — целую банку его она обнаружила в холодильнике. Потом опять улеглась, накрылась ворсистым одеялом, и в который раз ощутила тяжесть и теплоту во всем теле, где зарождалась новая жизнь, над которой Вагин был теперь не властен. Снова что-то зашипело по трансляции, и звонкий голос вахтенного объявил: «Внимание судового экипажа. Идем к траулеру «Яшма». Снятие с промысла задерживается на двое суток. В столовой будет демонстрироваться новый фильм: «Их знали только в лицо».

Она уже задремала, когда в дверь каюты осторожно, но настойчиво кто-то постучал. Вагин — сразу догадалась она. Стук повторился. Катя встала и подошла вплотную к двери. Их разделяла теперь только тонкая переборка. Было даже слышно его прерывистое дыхание. Он тоже, видимо, почувствовал, что она стоит рядом.

— Катюша, открой... Открой, я остался здесь на всю ночь, к «Яшме» подойдем только утром. Открой...

Она молчала, так продолжалось томительно долго. Наконец она услышала, как удаляются шаги по длинному коридору. Потом со скрежетом открылись задрайки двери, ведущей на верхнюю палубу...

Утром она проснулась рано и долго смотрела в открытый иллюминатор. Над сплошной водой ей была видна полоска рассветного неба, которое еще не хотели покидать крупные южные звезды, мерцавшие зеленоватым светом. Легкая зыбь прокатывалась по поверхности большой воды, и вздымаясь на этой зыби, отходил от борта

вагинский катер. Она спокойно глядела ему вслед, ощущая свежесть утреннего ветра. Встающее солнце заполняло отблесками светлеющую синь океанской глади. Мысленно она прощалась со всем этим сливающимся воедино простором света и воды, впереди ее ждала другая еще неизведанная жизнь.

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Сколько мне анкет в жизни довелось заполнить — не перечить. Куда ни сунься — везде тебе бланк протянут, садись и строчи в трех экземплярах. И всегда анкета моя вызывала у чиновников смятение. У одних — явное неприятие, у других прямое негодование, и лишь у немногих сочувствие. Еще в самом начале моего пути, когда впервые я собрался в Польшу на какую-то конференцию, сказал мне печально старый и прожженный кадровик: «С такой анкетой, брат, лучше тебе дома сидеть!» Я ему тогда не поверил, хотя в Польшу меня, естественно, не пустили, не те времена были. Но в юности живешь бурно, мелкие неудачи не могут поколебать. И в первый тот раз свою анкетную непригодность я не осознал, успокоили меня друзья — мало ли какая накладка могла получиться, сам понимаешь, чиновничья наша система, в ней сам черт не разберется. Ну а потом жизнь не раз учила меня, и понял я что к чему.

И насколько я теперь не жалею, что у меня анкета такая неудобоваримая. И оказалось, что правильно я сделал, что в свое время и национальность не сменил, и в партию не вступил.

Вот представляю, был бы я сейчас партийный, все грехи на меня бы свалили, партийный — значит, главный виновник того, что Россия на краю пропасти, что довели ее до последнего предела. Сегодня модно стало коммунистов ругать, никого уже этим не удивишь. Смелости особой тоже не нужно — и срок не схлопочешь, и с работы не полетишь. И даже те, кто аллилуйю взახлеб горланили, наперегонки дерьмом свою партию поливают. А я вот, дурак, молчу, а ведь тоже есть что сказать! Но нет, думаю, сдержу себя, негоже над тру-

пом изгаляться. Вот такие мысли высказал я недавно бывшему партийному боссу, а ныне главному заправиле местной монархической партии и тот расхохотался: «Какой труп? Да они и не собираются умирать — у них все в руках! Протри глаза, идеалист! Они деньги в банки вложили за бугром, дворцы себе на Канарах воздвигли, заводы распродали, издательства купили и билеты до поры попрятали!»

Пытался я спорить, однако не сумел напору фактов противостоять. И одно я понимал, пофартило мне в жизни — не вступил я в эту партию!

Со школьных лет многое я узнал, а в институте, когда пятьдесят шестой год грянул и начали уцелевшие из сталинских лагерей возвращаться, такого понаслышался, что никакие кафедры марксизма опровергнуть не смогли. Потому имею в дипломе среди сплошных пятерок единственную тройку — за марксизм-ленинизм. Сам виноват — любил на лекциях вопросы задавать, да такие, что зав этой кафедры багровел и задыхаться начинал. Хотя, отдать ему должное, был смелым мужиком, и в революцию шашкой намахался, и потом за свои идеалы десять лет на Нарыме лед колол. Два раза дурака сажали, ребра ломали, в прямую кишку раскаленный прут засовывали, а не поколебали. И в пятьдесят шестом гремел он с кафедры об отдельных нарушениях марксизма-ленинизма и о правильности выбранного пути, ставшего путеводной звездой для человечества. И был для него Ульянов-Ленин дороже отца родного, А когда такие ёрники, как я, выискивали в собрании сочинений великого учителя фразы «непонятные» для добренького вождя всего пролетариата, то заводился наш борец за светлое будущее, топал ногами, крошил мел по доске, переходил на крик. Даже мат проскакивал — следствие длительного общения с уголовниками. Аудитория визжала от восторга, лежали за партами вповалку, задыхаясь от смеха. А я не понимал, что тут смешного. Философов выгнал «добренький», чтобы не было других кафедр, кроме кафедры марксизма, интеллигенцию хотел уничтожить, как насекомых, попов приказывал расстреливать, и все удивлялся: до чего же мы мягкотелы...

Ну и доигрался я, за вопросы крамольные остался без стипендии. Пришлось ночами вагоны разгружать. На старика-профессора я не в обиде, не научила его жизнь ничему — и слава богу, сегодня он мне кажется честнее тех коммунистов, которые вступали в

партию, чтобы беспрепятственно купоны стричь, а когда стало это невыгодно — билеты кинулись сдавать. Задним числом повинюсь перед стариком. Блажен, кто в неведении. А ведь большинство ведало, что творилось, однако с трибуны одно, дома шепотом другое. А то, что билет партийный в кармане, так как же без билета, без него, кормильца, в рай коммунистический не попадешь: в должности не утвердят, в партийный санаторий не пустят, спецпак не выдадут, за границу не пошлют. Не враг же человек самому себе, чтобы из-за пустой формальности жизнь коверкать и от благ отворачиваться.

Еще в институте, на последнем курсе, пытались меня соблазнить партийной кормушкой. Зазвал, помню, к себе Феликс Крумштейрес секретарь партбюро, мой однокурсник. Умел он словами оболлакивать, красиво, подлец, выступал. Ему повезло, преуспел в жизни, сейчас на своей исторической родине, в Бразилии, возглавляет государственную программу строительства торпедных катеров. Не исключено, что и большевиков несет по кочкам с тем же успехом, с каким в годы нашей молодости хвалу им воздавал. «Куда же ты, старик, без партии, — убеждал он тогда меня, — ты ведь инженер без пяти минут, руководителем производства будешь, работу с людьми тебе никто не доверит, если будешь стоять в стороне от главного русла нашей жизни, если чураться партии, которая ведет народ к коммунизму, которая очищает душу людей и закаляет их...» Помнится, тут я не выдержал и подтвердил, — да, закаляет, приучает к морозу, чтобы холода не страшились, как нашего зав кафедрой. Раза три меня Феликс вызывал, потом понял — бесполезно, сказал с огорчением, махнув рукой: «Не будет из тебя толка, зря ты шесть лет проучился!»

Эти слова запали мне в душу — ведь прав был будущий бразилец! И не в партии здесь было дело, а в том, что почти не ходил я на лекции. Шатался по разным творческим сборищам, выставкам, театральным премьерам, да музеям. И стыдно тогда мне стало, какой из меня инженер. И решил я все упущенное наверстать. Взял тему необычную для диплома — атомная подводная лодка-истребитель подводных лодок. Почти все мои сокурсники сделали свои дипломы быстро, по прототипу, а я, дурак, девять месяцев в дипломке с зарубежными материалами возился. Не было у нас еще в те годы

атомных подводных лодок, только-только проектировать их в совершенно засекреченном конструкторском бюро начали. А тут я один на один с ватманом, первооткрыватель — и реактор по американским данным сам рассчитал, и обводов идеальных добился, чтобы придать максимальную скорость. И увидели мое усердие институтские начальники, и дали мне тогда в руководители моего диплома — самого главного и самого засекреченного деятеля, который в своем конструкторском бюро такие лодки начал проектировать, и был это, как потом я узнал, лауреат всяческих премий и многожды герой Е. Даже и сейчас по прошествии многих лет не решаюсь я полностью написать его фамилию. А вдруг еще не рассекретили? Е. возлюбил меня всей душой, и я, поощряемый его похвалами, сидел за дипломом дни и ночи, весь иссох и пугал всех окружающих отрешенным взглядом. И взял меня Е. в свое бюро на дипломную практику, и сделал своим помощником, и души во мне не чаял. А я старался и так рассчитал защиту реактора, что потом мой расчет был принят за основу в готовящемся проекте! Диплом я защитил, конечно, на отлично, и были все уверены и в особенности мой Е., что путь для меня один — в это сверхсекретное бюро, к мудрому и заслуженному моему руководителю в первые заместители. Дал Е. на меня заявку и сомнений у него никаких, ходит насвистывает, по обыкновению своему, арию Фигаро из «Севильского цирюльника». А когда рассмотрела все заявки комиссия по распределению, дали ответ моему Е. — что не подхожу я столь секретному бюро по профилю. Не понял я тогда их ответа, а мой сокурсник Гордон, тоже отвергнутый каким-то престижным и засекреченным институтом, сказал мне: «Неужели ты не понимаешь, по какому профилю? Возьми зеркало и посмотри на себя, на свой профиль!»

Возмутился я тогда, не хотел я верить Гордону! Е. пыхтел, как ракета перед стартом, метал громы и молнии. Я, неразумный, ему вторил. Переживал очень. А радоваться ведь надо было, что не попал в это засекреченное бюро. Кем бы я был сейчас? Рабом расчетов. Невидимый, засекреченный напрочно, никому неизвестный! Не познать бы мне никогда никаких заграничных вояжей, ничего бы мне не узреть! Анкетные данные меня спасли!

Направили меня «счастливчика» на производство, в город на самом западе страны и начал я там инженерную стезю неплохо. И

беспартийность моя до поры до времени никого не смущала: знает человек дело — и ладно, подрастет — поумнеет, вступит в ряды борцов за победу пролетариата. Так на заводе было. А потом занесло меня во флотское управление, и мне тогда совсем молодому, — тридцати еще не было, — доверили пост начальника крупного отдела, да еще в придачу и конструкторское бюро дали. Вылез я в люди благодаря покровителю своему — очень большому начальнику всего нашего судостроения, вальяжному адмиралу в отставке, который после одного из моих изобретений уверовал, что такой человек, как я, сможет быстро провести модернизацию устаревшего адмиральского флота и принесет пользу отечеству, а попутно укрепит позицию адмирала, у которого были какие-то враги в Министерстве и рыльце в пушку из-за перманентных любовных походов. И я оправдывал доверие и вкалывал днями и ночами. Но однажды адмирал хватился, что упустил одно существенное обстоятельство — новый его выдвиженец был беспартийным. Адмирал решил, что это дело поправимое, так, пустая формальность. Его помощник наметнул мне, что пора оформлять документы и принес рекомендацию от самого адмирала — это была высокая честь и помощник взирал на меня с почтением. Я спрятал рекомендацию в дальний ящик стола и никоим образом не отреагировал на оказанное мне доверие. Адмирал, занятый борьбой с врагами в Министерстве и измученный любовницами, все-таки нашел время, выкроил пару часов для серьезной беседы со мной. В его кабинете я был удостоен большой чести — мне была поднесена рюмка коньяка и налита чашка кофе, похвастать таким вряд ли мог кто-либо из моих коллег в управлении флота. Адмирал долго пытался уяснить, почему я артачусь, мой отказ от партии поразил его, и он никак не мог осознать, в чем причина. Я понял, что надо дать адмиралу довод, который успокоил бы его сердце и был бы объясним. Я признался, что увлечен литературой и наряду с инженерными делами постоянно пишу, и что книжка моих рассказов уже издана в Москве. Он выслушал меня, поцокал языком и спросил: «Какое это имеет отношение к нашей беседе?» И не услышав вразумительного ответа сразу же использовал мое объяснение себе на пользу: У нас партийная литература, — пророкотал адмирал, — еще Ленин писал об этом. Все лучшие писатели у нас в партии! — Кто, например? — робко спросил я. Адмирал захохотал:

Все, абсолютно все! Горький, например... — Увы нет, — возразил я и стал объяснять, что Горький в семнадцатом году выступал против большевиков... Адмирал скривился, хлопнув по столу кулаком[^]. — Бред! — крикнул он. — А Маяковский! — Он никогда не был в партии, — заметил я. — Ну тогда Шолохов! — Я отрицательно замотал головой. На этом запас имен был исчерпан. Я ожидал великого гнева, но был все-таки понят, адмирал больше не давил на меня. Однако через год жена адмирала застучала его на даче с очередной пассией и разбила об его лысеющую голову заварочный чайник. На этом карьера адмирала кончилась и его сменил угрюмый дундук, увешанный всеми возможными орденами и медалями. Этот убежденный большевик шуток не понимал, узнав, что я не в партии и к тому же еврей, он так распек начальника отдела кадров, что тот с гипертоническим кризом слег в больницу, а мне было заявлено: или партия, или мне следует распрощаться с отделом. Я выбрал последнее и нисколько не пожалел, ибо тотчас попал в референты к генеральному директору самой большой фирмы на нашем побережье. Того не смутили ни моя национальность, ни беспартийность, у него был хорошо поставленный баритон, и он великолепно исполнял с трибуны доклады, написанные мной. Он же имел неосторожность расхвастаться в обкоме, какой у него есть писатель, и тут я влип уже по большому счету. Как раз в это время ожидалась комиссия из самого ЦК, и к приезду высоких гостей готовился весь аппарат обкома и все руководители предприятий. Составлялась гигантская справка о деятельности предприятий области за последние пять лет. Мой шеф по указанию первого секретаря обкома привлек меня к составлению этой бодяги. Первому секретарю понравился мой стиль, я был введен в комиссию и даже назначен ответственным за составление первого раздела справки. Шеф мой был преисполнен гордости за меня, я был включен в число счастливых избранных, кои допускались на встречу с посланцами всесильного ЦК. Но какой получился конфуз, передать трудно. Милиционер, пропускавший в здание обкома и проверявший партбилеты, встал на моем пути. Я начал спорить, на нас обращали внимание, первому секретарю было доложено, что мне надо выписать пропуск. «Какой пропуск! — удивился он. — Это же наш человек!» Ему объяснили, какой наш. Первый пришел в неопишемую ярость и излил весь свой гнев на моего

шефа, тот поспешил спуститься вниз и оттереть меня от милиционера. «Чтобы никто тебя здесь не видел, писатель!» — зло прошипел шеф. Я ретировался и, путаясь в дубовых дверях, выскочил на улицу, оставив куртку в гардеробе. Потом за этой курткой посылали шофера шефа. Первый секретарь обкома долго не мог успокоиться, и лишь к концу дня несколько смягчил гнев. «Какое счастье, — сказал он моему шефу, — что все это обнаружилось сегодня! Представляешь — в ЦК выяснилось бы, что справку о нашей работе составлял беспартийный!»

Так отсутствие билета уберегло меня от возвышения и вступления в ряды партийной элиты. Хорошо бы я был сейчас, когда весь народ раскусил, что натворили большевики, и мне пришлось бы отвечать за их злодеяния. Так что горевать о том, что я не сделал партийной карьеры, мне не приходится.

К тому же моя беспартийность даже несколько раз в жизни выручала меня. Например, первые пять лет после института я проработал на заводе, который за эти пять лет так опостылел мне, что я решил во что бы то ни стало уволиться. Завод этот был номерной, я был молодой специалист, и вообще уволиться оттуда было также трудно, как и поступить. Чудом я туда попал — евреев на этот завод не брали. Обязан был своему приему, как я потом узнал, именно тому, что на заводе ни одного еврея не было. Факт этот дошел до директора и тот почему-то заволновался и приказал разыскать толкового еврея и принять, чтобы при очередной проверке в случае, если отсутствие евреев станет поводом для обвинения в антисемитизме, козырнуть этим евреем. И действительно я его выручил. Когда позже в министерстве нашего директора назвали черносотенцем, он резонно ответил: «Какой же я, простите, антисемит, если у меня на заводе ведущий специалист — еврей!» Очевидно, именно из-за этого он никак не хотел со мной расстаться. Все мои заявления он рвал и выбрасывал в корзину. Тогда я послал заявление по почте заказным письмом и объявил, что на работу не выхожу. Директор захотал: «Куда ты денешься! Партком не снимет тебя с учета!» Он не знал, что я беспартийный, и я не стал его разочаровывать. Просто я больше не появился на этом секретном и весьма престижном заводе. А если бы я, не дай бог, был партийным, не видать бы мне свободы — так и гнил бы за тремя оградами, охраняемый бдительными вохровцами.

В другой раз, когда я по воле случая, уже на другом заводе, замещал начальника крупного цеха, ко мне повадился ходить прыщавый майор из КГБ, он был ответственным в своих органах за наш завод, имел в цехе своих людей, знал о многих то, что они и сами не знали, но почему-то ему очень хотелось, чтобы я включился в работу по искоренению крамолы. Он был человеком недалеким, говорил чужь, я с трудом выдерживал его посещения и просил секретаршу не пускать его под любым предлогом, но, как потом я узнал, он задарил мою охранницу французскими духами, и та слабо сопротивлялась. Наконец мне все это надоело. И в очередной раз, когда он попытался вкрутить меня в свои игры, я не выдержал. «Вы мешаете мне работать, — сказал я, — и вы и все ваши друзья дармоеды!» — «Как можете, вы, руководитель, большевик, не понимать, что органы созданы партией, — возмутился майор. — У колыбели их стояли такие люди, как Ленин и Феликс Эдмундович!» Этот занюханный пинкертон даже не знал, что я беспартийный, тоже мне сыщик. «И что же, — спросил я его, — если коммунист, значит сразу и стукач?» — «Но это ведь не бесплатно, пятьдесят рублей в месяц не валяются на дороге!» — «Вон отсюда!» — закричал я. Он вскочил, стал спиной отступать к выходу, и там, уже у дверей, на безопасном расстоянии выкрикнул последнюю угрозу: Вас вызовут в райком, вас обяжут! Откажетесь — выложите билет на стол! — Я тебе выложу что-нибудь другое! — пообещал я. Больше он у нас на заводе не показывался. Ни в какой райком, естественно, меня не вызвали, что возьмешь с беспартийного, стукача из него не сделаешь. Так что, если все взвесить, то беспартийность моя в жизни меня часто выручала.

Что же касается препятствий, вызванных отсутствием билета, то выделить мне их из общего числа барьеров весьма затруднительно. Здесь для примера обращусь к моей морской службе. Уж очень я рвался в морские путешествия, хотелось мир повидать, набраться новых впечатлений, вкусить соленый рыбацкий хлеб. Для писателя это крайне необходимо. Но вот в заграничные вояжи прорывался я с преогромным трудом. Визу мне оформили сразу всего один раз, в первый мой рейс, а потом стали дробить со всех сторон мое оформление. Причин было много, в том числе, очевидно, моя беспартийность, потому что посылали меня в Атлантику не простым матросом, а на ответственные должности. А где вы видели беспартийного

капитана или стармеха? В те годы, когда железный занавес прочно закрывал границы, считалось, что за всеми, кто уходит в заграничный рейс, нужен глаз да глаз. И хотя были на судах специальные кадры, которые тем только и занимались, что все вынохивали и выслеживали, все же считалось, что командиры на судне должны блюсти интересы страны, а значит и партии. А так как я выходил в море флагманом, естественно, по тогдашним меркам я обязан был быть партийным. Однако нет правил без исключений. За долгий свой безупречный труд был я дарован особым вниманием и по ходатайству моего начальника, грозного хозяина всех западных рыбацких флотов Филимонтьева, был включен в номенклатурные списки, утвержденные обкомом партии. Были тогда, а может быть и сейчас остались такие списки. Человек, попавший в них, пожизненно обрекался на начальственные должности. И коли влез в номенклатуру, то считай, становился непотопляемым. Проштрафился в одном месте, назначат в другое, в общем свой в доску для сложившейся системы и в обиду тебя не дадут. И коли ты в номенклатуре, то с барского стола кое что перепадает, и с квартирой, и с дачей все проще решается. Меня даже к какому-то юбилею октябрьского переворота орденом решили наградить, да не каким-нибудь, а самым престижным — орденом Ленина, вот до каких высот я добрался, будучи беспартийным. Однако, как не ходатайствовал за меня Филимонтьев, на каком-то предпоследнем этапе меня из этих списков выкинули. И не потому, что беспартийный. Тут национальность меня подвела и скорее не национальность, а фамилия. Упрям был мой шеф Филимонтьев — его глупая затея! Настоял у нас на парткоме, не послушался трезвых остерегающих голосов кадровиков, без моей фамилии список подписать наотрез отказался. А в обкоме не дураки сидели, свое дело четко знали, и в наградном управлении сразу просекли — еврей, да еще и беспартийный — да что там, на флоте, все с ума посходили? И вычеркнули меня из списков, и послали эти списки в Москву, а через месяц оттуда грозный звонок — список в таком виде утвердить нельзя, есть одна заковыка — отсутствуют в этом списке беспартийные и нету ни одного еврея, и это неправильно, ибо, когда списки опубликуют, опять вой диссиденты поднимут... И наш обком на эти замечания отвечает радостно — есть у нас такая кандидатура — и еврей, и беспартийный. В Москве тоже довольны:

досылайте срочно! Пошел в Москву наградной лист на меня. А потом из Москвы выговор обком схлопотал — опять не то наши сделали, опростоволосились бедолаги. Объяснительные писать пришлось!

Филимонтьев только не успокоился даже в Москву ездил, чтобы меня отстоять. В министерстве пытался за меня бороться. Отчаянный был человек. Там-то ему все и объяснили. Сказали — изображать надо, мол, с чего это вы вставили в списки своего заместителя, не проанализировав анкетные данные. Так была же разнарядка на одного еврея, — не сдавался Филимонтьев. — Была, — согласились они. — Но ведь фамилия у вашего протеже больше на русскую смахивает. Где это вы видели еврея с такой фамилией? Что у вас Рабиновича не нашлось на флоте? И представьте наше положение, в ЦК на неприятности можно нарваться, спросят, а где у вас в списке еврей? Что мы ответим?

В общем-то они были правы, зря мой шеф тратил нервы, и на высочайший гнев нарывался. Списки ведь в газетах напечатают, прочтут и на Западе, ехидно заметят — видите, сколько награжденных — и ни одного еврея, вот он российский антисемитизм во всей его обнаженности! И поди докажи всем этим врагам и иноверцам, что есть среди награжденных еврей. Не станешь же меня всякий раз вызывать и показывать, чтоб мой профиль узрели. Вот так не повезло мне с фамилией! А с другой стороны — как это здорово вышло, что вычеркнули меня из списков — хорош бы я был с этим орденом Ленина на лацкане пиджака! Упаси нас от такого, Господи! Ведь сколько натворил симбирский властолюбец! И как он России отомстил за брата, что до сих пор расхлебаться не можем!

Филимонтьев, потерпев фиаско с моим награждением, от меня не отказался. И когда мне закрыли визу и пытались преградить путь к морским путешествиям, тоже не мало порогов пообивал, доказывая, что смело можно выпустить в море столь необходимого рыбацкому флоту флагмана. Я суетился, писал в инстанции, хотелось узнать, за что же такая немилость, и какой фактор сработал отрицательно: беспартийность или национальность. Мне ничего выяснить не удалось, те, кому я писал, не имели привычки отвечать на запросы. И однажды Филимонтьев, пребывая в прекраснодушном настроении, у себя в кабинете сказал, сверля меня глазами, утопающими в складках жира:

Думаешь тебя не выпускают, потому что ты еврей и беспартийный?

— Откуда мне знать? — промычал я. — Обижайся только на себя, — сказал Филимонтьев, — не хрен было заниматься бумагомараньем. Тебя держат под надзором, потому что ты писатель, понял?

Как тут не понять, время было тогда такое, что писателей начали прижимать и стеречь, одних судили, других определяли в диссиденты, третьих затолкали в психушки, а многие писатели и сами драпанули на Запад. Конечно, у власть придержащих на вполне резонных основаниях могло возникнуть подозрение, что и я тоже захочу, ну, если не драпануть, то уж наверняка напечатать свои вирши в каком-нибудь антисоветском «Посеве». В мыслях у меня, правда, этого не было, но кому дано залезть в чужие мысли, даже КГБ здесь бессильно, а потому на всякий случай — лучше подстраховаться, чем потом отрабатывать.

— Слушай, — сказал мне Филимонтьев, — ты вроде грамотный инженер, я тебе промыслом доверял командовать, а ты тратишь себя на какие-то никому не нужные рассказы. Читал я — ничего там особенного, ты не обижайся, конечно, но если бы не ты, а кто другой написал, в жизни бы не открыл. Есть Юлиан Семенов — и его с достатком хватит, а кому не хватит — пусть Сименоном разбавит, тоже неплохой враль! И мой тебе совет: брось ты всю эту тягомотину. Вступай в партию, и я тебе такой путь открою — окривеешь от радости. В Галифакс пошлю — там мы представительство создаем. Три года поработаешь — и денег до конца жизни не сможешь истратить, там валютой тебе пойдет, понял?

— А с национальностью, что делать прикажете? — спросил я.
— Кто вам позволит в Галифакс еврея послать?

— Фигня все это, — бодро сказал шеф, — все в наших руках, и национальность тебе перепишем. Паспорт потеряешь, я тебе все устрою!

Не поддался я тогда на уговоры шефа, а может быть и зря. В Галифаксе, послушай его, отсидел бы два срока, и чихал на всех. Так нет, писательство меня манило. Там-то, наивно думал я, среди просвещенных и интеллигентных людей, в кругу инженеров человеческих душ никакого значения не имеют — национальность, партийность и прочая мура. И примеры тому яркие есть, вон их сколько евреев в русской литературе, пальцев не хватит сосчитать

— и Пастернак, и Мандельштам, и Гроссман, и Эренбург, и Каверин, и все они к тому же беспартийные. Наивен я тогда был. И вот написал заявление, чтобы меня в Союз писателей приняли, было у меня тогда издано три книги, критики их захлеб хвалили — и думал я — вот сейчас все там, среди писателей, обрадуются, давно, мол, было пора, глупости городил — в морях пропал, давай, коллега, в нашу дружную писательскую семью. Я, дурачок, не внял предупреждениям людей, умудренных опытом. Напрасно мой друг, большой русский писатель из Москвы, пытался вразумить меня. — Будешь заполнять анкету, — советовал он, — напиши, что ты русский, никто там ничего не проверяет, тем более фамилия и имя у тебя нормальные. — Зачем мне надо идти на этот обман, — гордо заявлял я, — у меня три книги, этого вполне достаточно! — Там совсем другой счет, — объяснял мой наставник, — в приемной комиссии, как на подбор, антисемиты, стоит тебе только раскрыться, и все пойдет прахом! Я не хотел ему верить. Уж очень, казалось мне, они там, в Москве, привыкли ловчить. Вот и мой наставник считался русским — это с его-то носом и овечьими глазами — мог он провести кого угодно, только не меня. Неужели, чтобы быть принятым в писательский союз, надо ловчить, это не укладывалось в голове. И еще советовал мой старший друг срочно вступить в партию. Я только рассмеялся в ответ. И через полгода заслуженно получил по носу. Несмотря на то, что все три рецензента положительно отзывались о моих опусах, на голосовании, которое было тайным, я не набрал и половины голосов. И это было к лучшему. Это мне в жизни так помогло, так настроило меня, что если бы знали антисемиты из приемной комиссии, что получится, они бы против не голосовали.

Решил я тогда — ну, погодите, докажу, что могу писать, и билет мне не нужен. Взяла меня спортивная злость, и за два года я издал две книги. Вышли они почти одновременно, и снова я полез в приемную комиссию, и снова не набрал голосов. И опять засел за рукописи, и опять издал книгу. Вся эта мутота с приемом длилась года четыре. И все это время я писал, и все время печатался, и деньги мне потекли со всех сторон. В конце концов вынуждены были меня принять. Но ведь посудите сами, какой вред сделали бы мне те, кто сразу бы проголосовал за мой прием, я опустил бы руки, почивал на лаврах, а так трудился усиленно, стимул был, хотел дока-

зять всем, что и еврея, и беспартийного вынуждены будут в этот союз принять. Так что в итоге мои неудобоваримые анкетные данные в который раз сыграли для меня очень полезную роль.

И вот с этим своим преимуществом — беспартийностью — я чуть не расстался. Был такой грех. Грянула перестройка. Сидели мы за железным занавесом, обманывали друг друга с высоких трибун, таились в страхе, а тут на тебе, глава партии, которая над народом сколько лет измывалась, объявил во всеуслышанье, что не просто отклонения имели место, связанные с культом кровавого гуталинщика, а вообще путь не тот, что пора к цивилизованному миру приобщаться, очиститься и покаяться. Гласность объявил, плюрализм — и прочие прогрессивные понятия. И не просто объявил для красного слова, но и действовать начал. И прочли мы в газетах то, что раньше знали, но о чем молчали, или только в узком кругу шушукались, и стали явными и адыловщина, и рашидовщина. И полетели с постов партийные воры и феодалы. А мы, писатели, больше всех возрадовались — цензуру отменили, вот что главное! Да разве мечтали об этом, разве могли даже предположить такой смелый шаг. И кто пошел на него? Партия! Она, кормилица, во главе перестройки. И уже готовы мы все простить и убийцам и ворам, и тем, кто нас зажимал, кто в психушки кидал, кто в КГБ таскал. Как говорится, кто прошлое помянет, тому глаз вон...

И каждый вечер от телевизора не оторваться, и всякий раз опаска, вдруг опять повернут, ан нет — Горбачев свое гнет. И слушать его медовые речи было одно наслаждение. И тогда потянуло меня быть в первых рядах борцов, многие писатели и ученые, не один я, от слова перестройка балдеть стали, Распутин и Шаталин в партию заявления подали. Ликовала доверчивая элита, и я, охваченный эйфорией, порешил тоже встать в партийные ряды, чтобы России свободу возвратить, чтобы рабство искоренить.

И вот стал думать, у кого мне рекомендацию в партию взять, вопрос в принципе несложный: почти любой, к кому бы обратился, не отказал бы. Но хотелось мне взять рекомендации у таких людей, чтобы по духу и мыслям мне соответствовали и не замараны были. Среди партийных писателей были у меня близкие товарищи. Один из них тоже вроде бы во времена застоя под гнетом цензуры изнывал и даже на Западе печатался, в общем человек, как мне казалось,

подходящий, и собрался я к нему, и уже было встречу назначил, как случилось мне срочно по делам издательским в столицу выехать, и там случайно узнал я, что этот писатель в провинции казавшийся нам чуть ли не борцом за правду, там, в столице, связался с обществом «Память», и свои книги не очень праведным путем пробивал, делился гонораром с редакторами, да к тому же, получал доплату в органах за свое стукачество. Не хотелось мне в это верить, но как говорят большевики — факты упрямая вещь. Пришлось от его услуг отказаться. Да и вообще, понял я, в писательской среде глупо рекомендателя искать. Если кто и состоял там в большевиках, то лишь за тем, чтобы купоны удобней стричь было, издавать тома свои, за границы ездить, в правление пролезть... Обратил я тогда свои мысли к флоту, стал вспоминать капитанов и стармехов, с которыми в морях сдружился, с которыми соленый хлеб рыбацкий делил. И были среди них мужики прямые и откровенные. Не раз в кают-компаниях несли они свою партию по кочкам, не боялись, что визы лишат, все понимали. И выбрал я из капитанов самого известного, орденоносца, чуть ли не героя труда — Феокиста Петровича Якушева. Ходил я с ним в одном из рейсов к берегам Африки, в рыбацкой работе не было ему равных. И нюх у него был на рыбу лучше, чем у судового кота. Ночами он не спал — все время на мостике, справедлив был, суров, но справедлив, любили его моряки, как отца родного. Выяснил я в диспетчерской, что он с морей возвратился и поехал к нему домой. Бутылку коньяка взял, позвонил в дверь в предчувствии радостной встречи, но открыл мне не мой любимый капитан, а плачущая женщина, в которой узнал я судовую буфетчицу Алену. Кинулась она ко мне со слезами и причитаниями. Под глазом у нее багровел внушительный синяк, золотистые волосы растрепаны, лицо опухшее. Причитая и всхлипывая, поведала она, что вернулся ее муж-орденоносец из очередного рейса разъяренный, как тысяча дьяволов. Мебель крушил, оторвал дверцу у серванта, а финский телевизор выбросил с балкона. И теперь, получив расчет, исчез в неизвестном направлении. Я старался успокоить ее, мало ли что бывает в жизни, образумится, вещи — дело наживное, еще привезет, но мои слова вызывали еще более сильные всхлипы, и слезы неостановимо стекали по ее щекам. И вспомнилось мне, как судьба забросила меня на траулер «Орфей» много лет назад, где он, ее нынешний муж, был

капитаном, а она — буфетчица, судовая красавица, мечта всего промысла, крутобедрая и голубоглазая, плавно скользившая под жадными взглядами комсостава в кают-компанию. И как тогда, в том рейсе, молодая и неопытная, не хотела сдаваться, и отвергла притязания капитана — весьма редкий случай, на такое не всякая решится. Был я в том рейсе помощником начальника экспедиции, имел отдельную каюту и единственный на судне не подчинялся капитану, а напротив, капитан даже зависел от меня, когда дело касалось очереди на выгрузку или получения топлива. И вот однажды ночью разбудила меня Алена, и я спросонья ничего не мог понять, а она, хоть и была зареванная, нашла силы пошутить: «Прошу политического убежища!» Понимала, что в моей каюте она в безопасности. А гонял ее в ту ночь по судну ее будущий муж и негде было ей больше укрыться. Потом помирились они, а уж в следующем рейсе любовь вспыхнула. Но одно дело в море влюбиться, другое дело — на берегу эту любовь не опорочить. Получается теперь, что муж законный, но укрыться от него негде и не у кого политического убежища просить. Ушел я из капитанского дома расстроенный, нет, не нужна мне рекомендация от Феокиста Петровича. Решил я сходить лучше к своему однокурснику, с которым в студенчестве не сказать чтобы очень дружили, но симпатизировали друг другу, и который теперь стал большим человеком, чуть ли не секретарем райкома партии, во всяком случае наверняка завотделом, так как видел я его только по телевизору или на демонстрациях, когда он на трибуне с «отцами» города стоял и приветственно рукой проходящим колоннам махал.

То, что он бросил инженерию и сделал политическую карьеру не с лучшей стороны характеризовало его, но воспоминания студенческих лет были уж очень приятны — хороший он был в те годы парень, честный, да и сейчас, по рассказам наших однокурсников, всегда из беды выручал. Нашел я по справочнику его телефон, пришел в райком, встретил он меня радушно, кабинет у него был просторный, кресла мягкие, на столе кофе, начались воспоминания, все бы хорошо, только вид его мне не понравился, смертельная тоска на лице, и кожа не просто бледная, а серая какая-то. Уж не болен ли мой сокурсник безнадежно, подумалось мне. К счастью, ошибся я. И когда к слову кабинет его похвалил, вздохнул он тяжело и протянул — последний день, друже, восседаю я здесь, побаловались и

будя... Слава богу, я рейсфедер в руках держать не разучился, в конструкторское возвращаюсь. Мысленно я его шаг одобрил, всякий человек должен заниматься делом, не к лицу корабелу в политику влезать. Однако, оказалось, что не прост его уход из секретарского кресла, отмочил он вчера на партийной конференции номер, бросил на стол президиума свой партийный билет. Хорошо, не объяснил я ему, зачем пожаловал, вот был бы конфуз.

И понял я, что не найти мне рекомендателей, что не стоит даже дергаться. Вот так счастливо сложилось для меня, что миновал я искус партийный, и слава богу. Прошла первичная эйфория, и только диву можно даваться, как же я, битый и крученный, смог поверить, что партия перестроится. Ведь они, большевики, сами от своей партии вмиг отказались, когда пришла пора, отказались — лишь бы в креслах удержаться, власть ведь медом намазана, как от нее отступить. Тем более все то же, как и было, только партийного контроля нет, и можно, не таясь, валюту копить и дворцы строить. И никто в вину не ставит, что раньше народ обманывали, и ни у кого анкетные данные не проверяют. Вот жизнь настала!

И мои анкетные данные никого уже не смущают, а даже завидуют мне многие. Ездил я недавно в Ленинград, который в Санкт-Петербург переименован, встретился с другом юношеских лет. Тоже он, бедолага, писателем стал, только в писательский союз еще не приняли. И с какой тоской и завистью взирал он на меня, как удивлялся, что я еще здесь, что никуда не уехал. «Да я бы на твоём месте, — говорил он, — давно бы уже на Западе был, такие прекрасные данные у тебя — и беспартийный, и член Союза, а главное, еврей — ведь это потрясающе выгодно, да только заявись ты в любое посольство, тебя с распростертыми объятиями примут!» Глаза его мне не понравились, взгляд какой-то бегающий, в движениях суеты много. Сдал ты, Петя, говоря я ему, чего дергаешься? — И действительно, — согласился он со мной, — положение не безнадежно, и в моей родне не без евреев, дал я запрос с городской архив, была у меня бабушка Файкенштейн, даст бог, докажу, что еврейка, ну не еврейка, так немка в крайнем случае, в Германию путь открыт.

И передернуло меня от его слов — вот до чего дожили — в немцы мой бывший друг хочет записаться или в евреи. Поменять свои анкетные данные хочет! А дело это никчемное. От судьбы не

уйдешь. Пытался я его отговорить да куда там. Забегал он по комнате, руки стал заламывать, слюной брызгать. Закричал: «Тебе от рождения повезло! Никогда мы друг друга не поймем!»

Тошно мне было с ним, и коньяк его в горло не шел. А после этой встречи тоска долго ела. Но переборол я хмарь, пытаюсь убедить мысленно самого себя временно все это, мишура все это, переживем. И в душе остаюсь я неисправимым оптимистом, и дожить думаю до того времени, когда важно будет не кто ты по национальности, происхождению, партийности, а главное, будет в том — человек ты или так, человечье подобие.

СИРЕНА

И вот пришел день снятия с промысла. Мы должны были начать движение рано утром, но нас словно магнитом притягивали остающиеся траулеры. И все это из-за наших полупустых трюмов. Нас догружали рыбой, добытой другими.

Заканчивался самый неудачный из моих рейсов. К вечеру пошел проливной дождь. Шум дождевых потоков сливался с плеском волн и с журчанием ручейков, устремлявшихся с промытых палуб в шпигаты. Я стоял под крылом мостика, сырость пропитала меня насквозь, но возвращаться в каюту, где мой напарник — сменный трал-мастер — угощал добытчиков самогоном, мне не хотелось. Я знал, что предстоит еще одна бессонная ночь, вся в пустых полупьяных разговорах, в бессвязных восклицаниях, в жалобах на судьбу. Здесь же я был в одиночестве, отделенный от всего мира стенами ливня. Монотонный шелест и журчание обволакивало меня. И вдруг я скорее почувствовал, чем услышал, как нечто чужеродное вплетается в шорох дождевых струй. Это было все время нарастающее фыркающее тарактение. И тут я разглядел, как, прорываясь сквозь пелену дождя, подсакивая на невидимых волнах, к нашему борту приближался катер. И тотчас вспомнил, что капитан говорил о трех пассажирах, которых ему навязали, и что фельдшер наш, за весь рейс так и не получивший никакой практики, вчера суетливо готовил каюту, считавшуюся у нас лазаретом, и разгораживал ее ширмой.

Катер приблизился почти вплотную к борту и долго подпрыгивал рядом с траулером, пока его заметили из штурманской рубки и что-то закричали в мегафон. Потом, чертыхаясь, выполз на палубу боцман, а за ним еще несколько человек из команды. Они стали спус-

кать трап. Они переговаривались с теми, кто был на катере, все действие проходило палубой ниже, и мне был виден только краешек борта, но именно тот, где должны были появиться пассажиры, да широкая спина боцмана, крепившего трап. Несколько наших добытчиков стояли на промысловой палубе. Несмотря на дождь, они вышли к борту, согнулись у планширя, что-то там внизу приковало их взгляды, потом я увидел и других наших матросов, казалось, они совершенно не замечают дождя.

Наконец там, внизу, началось какое-то движение, и через фальшборт перебрался первый пассажир. Это был совсем молодой парень с рыжей бородкой. Промокший насквозь, он вздрагивал, жался, словно попал не под тропический ливень, а под осенний колючий дождь. Потом к борту бросились сразу несколько наших матросов, протягивая руки следующему пассажиру. И тогда появилась женщина. Темные промокшие ее волосы были перевязаны голубой лентой, тонкой рукой, оголенной по локоть, она ухватилась за лапищу нашего боцмана, и тут я наконец разглядел ее лицо, расширенные иконописные глаза, казалось, были устремлены только на меня. В жизни я не видел ничего более прекрасного. Почему я не рядом с боцманом? Почему не спустился палубой ниже, чтобы протянуть ей руку? Представляю, как страшно было ей взбираться по скользкому раскачивающемуся трапу, как тяжело сейчас перебираться через фальшборт. Вот она перекинула одну ногу, стройную, загорелую, омытую дождем, дотянулась до палубы, юбка ее высоко задрапалась, на мгновение мелькнула белая полоска трусов, боцман обнял ее, помогая встать на палубу, и вот она в сопровождении старпома поднимается сюда, к тому месту, где я стою. Конечно, сюда, ведь путь в лазарет только здесь. Мой взгляд не отрывается от ее глаз. Она потрясающе красива. Словно Афродита, рожденная из морских глубин. Я прижимаюсь к надстройке, давая ей пройти. Мокрая кофточка облегает ее упругие груди, сквозь дождь я чувствую аромат духов, запах ее тела. Я молча провожаю ее взглядом. Все мы смотрим ей вслед, не замечая идущих с ней двух других пассажиров — молодого дрожащего парня с рыжей бородкой и длиннющего, словно баскетболист, юношу с бледным лицом...

Вечером на траулере говорили только о пассажирке. Шесть месяцев мы почти не видели женщин, за исключением зубного врача,

которая пробыла у нас двое суток, затратив на наше лечение часа два и остальное время проведя безвылазно в каюте капитана. Но разве сравнишь ту врачиху с нашей пассажиркой! Все уже знали, что пассажирку зовут Марией. Это прекрасное имя, как никакое иное, подходило ей. В салоне за нашим столом было два свободных места и мы с моим напарником очень надеялись, что именно к нам за стол посадят Марию. Ночью мы не могли уснуть. Напарник мой, старый морской волк, вспоминал океанские романы. И то, как ему всегда везло, и что если даже три женщины были на траулере — одна из них была всегда его. «Проклятый рейс, — сказал он, — мало того, что нет заработка, так еще додумались вытолкнуть нас в море без женщин! Как это потрясающе — обладать женщиной в море, когда постель твою слегка покачивают волны, и вокруг такой простор, и плеск волн заглушает ее крики. И потом ты знаешь, что она проверена и можешь ничего не опасаться!»

Я уснул под шум дождя и монотонные воспоминания напарника. Мне снилась Мария, она парила надо мной в просторном зале, ее обнаженное смуглое тело пахло польнью, я тянулся к нему, я звал ее, я задыхался, вдруг я почувствовал, что лечу ей навстречу, это было поразительное сладкое парение, и в тот момент, когда мы сблизилась, она отчаянно закричала. Я проснулся. Но крик этот продолжался, он стоял в моих ушах. Это пронзительно гудел тифон, мы прощались с судами, остающимися на промысле, нам оставалось семь дней хода до берегов Европы, потом еще дня четыре. И я понимал, что теперь уже не хочу столь скорого возвращения...

Утром я долго торчал в коридоре, откуда была видна дверь каюты-лазарета. Пассажиры так и не появились. Я был не один, кажется все наши матросы сгрудились в этом коридоре, а старпом несколько раз заходил в заветную дверь и о чем-то долго шушукался с фельдшером, который теребил свои пышные усы и разводил руками. Сколько бы я дал зато, чтобы она сейчас вышла, чтобы мы остались одни на траулере, чтобы траулер этот стал летучим голландцем. Но мольбы мои не были услышаны. После обеда я один продолжал нести свою вахту в коридоре...

В салоне я появился только к ужину и сразу почувствовал какую-то напряженную атмосферу. Не слышно было привычных шуток. Все молча и как-то неохотно ели, на мой взгляд, очень аппетит-

ные бифштексы. Я ощущал голод и с удовольствием набросился на свою порцию. Я был уверен, что завтра обязательно встречу Марию, первый день — конечно, им нужно отдышаться, прийти в себя, а завтра мы будем вместе, и еще целых десять дней вместе, и на берег мы сойдем вместе...

Мечтания мои прервал зычный бас боцмана, который почему-то набросился на начпрода. «Пусть им готовят отдельно, ты понял, пусть отдельно, — кричал боцман, — и пусть не появляются нигде, ты понял?» «Что ты ко мне пристал, говори с капитаном», — испуганно бормотал начпрод...

Я вышел на палубу, дождь прекратился, бескрайняя гладь океана окутывалась темнеющим небом, след, оставляемый нашим траулерам, как бы разрезал пространство надвое, последние верные нам чайки еще пытались парить за кормой, огни промысла едва мерцали на горизонте. Ни в одном из иллюминаторов не горел свет. Я спустился в каюту, мой напарник сидел в темноте. На столе стояла початая банка браги. «Прекрасный вечер, — сказал я, — не хочется спать, так бы и стоял на палубе и смотрел, как появляются звезды!» Мой напарник тупо посмотрел на меня и выругался. «Ты чего, не допил что ли? — спросил я. «Да пошло бы оно все на хрен, и это море, и эти звезды! Последний рейс, и в гробу я все это видел. С моря, да еще заразу привезти!»

Он протянул мне стакан, я отпил немного, нельзя было оставлять моего напарника в таком состоянии. К концу рейса у многих не выдерживают нервы. «Послушай, что с тобой? В чем дело?!» — спросил я.

— А, ты еще не знаешь, — протянул он, — сделали нас круто, воткнули на борт спидоносцев!

Смысл его слов не сразу дошел до меня, но вдруг занемели ноги и я с трудом опустился на койку. «Не может быть, — выдохнул я, — не может быть, затравил кто—нибудь по злобе!» Ну конечно, мысленно успокоил я себя, стал приставать к Марии старпом, иначе от него не отвяжешься. Я привстал с кровати, вцепился в рукав своего напарника. «Кто сказал тебе это? Кто сказал?» — заорал я. «Ты что, взбесился? Радиограмма была у радиста. Прижали фельдшера, тот все на капитана валит. А шеф напился и в каюте заперся, умник дерьмовый. Подставил он всех нас...» «Успокойся, — сказал я, —

как ты можешь заразиться? Ты что, по старой привычке, увидел женщину — и она должна быть твоей?» — «Идиот! — крикнул он. — Ты еще ничего не понял! А если завтра тебя прихватит, если аппендицит, наш лепила и тебе укол вмажет той же иглой, что и им. Да комар их укусит, и тебя тоже — вот и привет! »

Как мог, я старался урезонить своего напарника, объясняя, что не через укус, не через иглу, если ее прокипятить, ничего не передается. А ночью сам проснулся в холодном поту. Ведь я же был первым, кто мог попасться... Выйди она, кивни только мне, и я пошел бы за ней куда бы ни позвала, ведь еще несколько часов назад мне казалось, что я наконец-то обрел любовь... Потом этот страх за себя сменился страхом за нее. Эти двое, которые тоже заражены, не ею ли? Они сейчас вместе, они выясняют, они могут расправиться с ней, выбросить ее за борт, покалечить. Значит, она и с тем рыжим, и с другим — фитилем, а может быть, они втроем, нет, нет, она не способна на это, это наверняка рыжий, сходил в бордель в Фритауне или подцепил уличную дешевую проститутку. Я пытался оправдать ее, и в то же время начинал ощущать, подступающую к самому горлу злобу...

На следующем день траулер превратился в плавучий ад. Даже самые молчаливые матросы кричали, чтобы капитан вышел из каюты. Когда он так и не появился, стали требовать старпома, чтобы тот немедленно высадил пассажиров. «Где я вам возьму госпиталь? — отбивался старпом. — В порт захода никто не даст, на шлюпку их что ли или в океан?» — «А хотя бы и так! — крикнул боцман. — Учти, шеф, народ на взводе, выкинут их ночью к трепаной бабушке! А то они и сами друг другу глотки перегрызут!»

Целый день все выясняли отношения. За ужином никто не приоткрылся к еде. Мы стучали по столу мисками, требуя выхода капитана. Но тот так и не появился.

Ночью я никак не мог уснуть, меня раздражал храп моего напарника и удушливый сивушный запах, стоявший в каюте. Я решил выйти на палубу и отдышаться там в тишине. Было прохладно, мы отошли от тропиков миль на триста. Тихая штилевая погода способствовала нашему ходу. Ветерок рождался лишь нашим движением, и все же, чтобы не замерзнуть, мне пришлось укрыться за судовую трубу. Не хотелось ни о чем думать. И вдруг я услышал

почти рядом с собой женский голос. Он был переливчат, словно слова не говорились, а пелись, словно встала на пути корабля сирена и заманивает меня. Я должен был бы заткнуть уши, как Одиссей, но напротив я пошел на голос, я стал вслушиваться в слова — и слова эти были созвучны моим мыслям: «Я не хочу жить, я хотела бы раствориться в этой штилевой воде, чтобы душа моя стала чайкой, мне не нужно тело, оно опротивело мне...» И тут мужской голос стал успокаивать: «У тебя самое прекрасное тело, ты самая красивая женщина на земле! Как ты можешь так думать?» И второй более юный голос: «Нет безвыходных положений, все мы смертны, великий грех — самоубийство. Взгляни, какая луна, какая ночь подарена нам...»

Они продолжали нежно говорить друг с другом, не замечая меня, я осторожно выглянул из-за трубы. Мария оглянулась, словно почувствовала мое присутствие. В глазах ее стояли слезы. Длинный юноша обнимал ее за плечи, а второй старался стать так, чтобы прикрыть от ветра. Хорошо, что было темно, что они не видели меня, не видели, как вспыхнуло мое лицо, Осторожно ступая, я спустился по трапу. Все вокруг было наполнено призрачным желтым светом. И штилевое море, и эта огромная луна, и легкий ветерок — все было так соразмерно, все было так прекрасно задумано, все, кроме нас — мыслящих и озлобленных, обреченных на вечные страдания. Как нужно было все измерять на свой аршин, думая, что эти юнцы расправятся с Марией. Нет, не от них шла опасность. Они продолжали любить ее. Это я стучал миской вместе со всеми, с теми, кто требовал выбросить пассажиров на шлюпке, обрести их на скорую смерть. И я посмотрел вверх, туда, где на мачте наши ходовые огни мерцали на фоне звезд, и прошептал: «Господи, прости нас, ибо не ведаем, что творим...»

ВЫПУСТИВШИЙ ДЖЕКА

Бледный юноша с черными горящими глазами, взлохмаченный, красный и воспаленный, ты всегда перед моими глазами — трезвенник Афельруд, протирающий запотевшие очки и взмахивающий непомерно длинными руками. Почему при такой поэтической внешности Бог не дал тебе таланта? Но разве ты мог примириться с этой ошибкой? В тебе была нечеловеческая устремленность, которой так не хватало нам! Глупые, мы усмехались, когда ты вытаскивал из кармана смятый, истертый на сгибах листок, где крупным и неровным почерком современный классик рекомендовал тебя в Союз писателей. Какая-то ерунда, чушь, — думали мы, — классик просто был пьян. И мы посоветовали заверить его подпись у нотариуса. Для этого пришлось улететь в Алма-Ату, туда, где жил этот классик. И там подтвердили, что подпись подлинная и поставили сверху большой круг печати с завитками казахских букв и летящим пегасом в середине. Где же ты, прежняя осторожность Востока? Целинный край, забывший величие минаретов и песни предков...

Ты приехал оттуда еще более почерневший и возбужденный, ты стал завклубом. Я не представляю, как ты руководил клубом. Завклубом, завсадом, завмагом — какое завывание и какая тоска в этих словах-уродцах! Ну какой из тебя затейник? Впрочем, если бы тебя просто посадить на сцене и смотреть на тебя... Допускаю, что для той деревеньки, где ты мерз в огромном пустом сарае с вывеской «Клуб» и где почти не было развлечений — твоё явление было из ряда вон выходящим. Полный доверия к людям, ты не закрывал клуб на амбарный замок, и твоя жена платила из своей скудной зарплаты за это твоё доверие к селянам. Платила по перечню глупого акта, в

котором неумолимый финансист, лишенный радости восприятия стиха, подсчитал стоимость пропавших ковров и оценил исчезнувшую копию «Девятого вала» на уровне подлинника. Жалкий любитель Айвазовского и мандолин, ревнитель колхозной собственности!

Я вспоминаю тот вечер, когда мой друг Веня, тогда еще начинающий писатель, заглядывающим нам в рот и записывающий тайком наши слова, а ныне большой мэтр в столице, привел тебя в мою заполненную холодом квартиру, где я мучился тоской от бессмысленности своей жизни, проклиная выматывающие «трудовые будни» завода и печку, пожирающую уголь ведрами. В моей квартире жил тогда пес Джек, которого приютил мой сын. Выпускать его на улицу было нельзя, он был Джек-потрошитель, бесстрашный охотник, пожиратель кур...

Я сразу понял, что и тебя, Афельруд, опасно выпускать на улицу в нашем поселке. Уж слишком длинны и смолисты твои кудри, слишком горбат нос, и просто вызывающе бросаются в глаза твои атласные брюки. Думаю, что они были пошиты из клубного занавеса. Улица наверняка бы не приняла тебя. Улица, где заводские парни, пошатываясь, бродили поисках своих домов, или, заслышав протяжные всхлипы гармошки, брели на ее зов к магазину, где топтались в незатейливом танце, разрывая тишину похабными частушками. Улица, где верховодил бригадир маляров, ненавидящий чужаков и бездомных собак...

Так вот, когда мы вошли, я сразу повел тебя к печке и растер твои побелевшие уши варешкой, и ты принял это как должное и когда ты рассеянно улыбнулся, я понял, что ты меня даже не замечаешь.

Мой друг Веня отвел меня на кухню и зашептал:

— Понимаешь, он приехал ко мне, но сейчас, ты же знаешь, какие отношения у нас с женой, мне просто невозможно дальше обострять их, ты же знаешь, что я вступил в партию, только не язви над этим, пожалуйста, выходит моя книга... Жена устроит скандал, она не позволит ему даже переночевать, а это золотой парень... Пусть он проживет у тебя, а? Ну, так я бегу, лады, а? Ну, ладушки, старик!

Итак, Веня выпорхнул, а мы остались вдвоем, если не считать дремавшего на кушетке Джека. Я долго смотрел на незнакомого мне тогда человека, греющегося у печки, на его красное лицо, освещаемое бликами пламени, на его горящие раскаленные уши. И он был

мне симпатичен. Я начал говорить намеками о том, как хорошо было бы согреться для знакомства. Я чертовски устал за день, сломался кран, и мы таскали по крутым трапам вручную баллоны с кислородом и ацетиленом. Я хотел расслабиться и забыть этот день. Ты не понимал моих намеков, Афельруд! И когда осталось десять минут до закрытия магазина, я пулей выскочил на улицу и, пробежав стометровку, назад шел медленно по скрипучему плотному снегу с бутылкой запотевшей от холода.

На кухне я взял два стакана, нарезал остатки колбасы, достал из кастрюли несколько вареных картошек, и поставив две тарелки, налил по первой. Ты даже не притронулся к стакану, через час я выплеснул все содержимое бутылки в себя. Ты смотрел удивленно, и лицо твое становилось все более красным, и казалось, вот-вот задымятся пластмассовые дужки твоих очков. Такое лицо я видел однажды у докового маляра Шульги, когда он упал в воду, и сверху полетело его ведро, наполненное суриком, и Шульга вынырнул точно в том месте, где по поверхности расползлась краска...

Когда пришла моя жена с ночной смены, я был уже абсолютно трезв, а ты еще более разгорячился, бегал вокруг стола, кричал, я уже точно не помню о чем, но что-то вроде того, что никто еще не понял Верлена, и я соглашался с тобой. Ты говорил о том, что невозможно жить с оглядкой, что творчество должно поглощать человека, что ложь и творчество несовместимы. Империя падет! — восклицал ты. — Мы дождемся! Свобода придет в этот город! Мы возродим здесь искусство! Здесь, где камни помнят шаги великого Канта, где царит в воздухе волшебный мир Гофмана!

— Ради бога, потише, — взмолилась жена, — услышат соседи.

Чтобы как-то отвлечь тебя от крамольных речей, я предложил спеть. Голос у тебя был протяжный и звонкий. Я не понял ни слова, но песня мне понравилась. А ты уже не только пел, ты кружился по комнате, оттопырив длинные пальцы, держась за лацканы пиджака, красным вихрем носился вокруг стола, то приближаясь, то исчезая в глубине комнаты.

А жена спросила:

— Где ты нашел этого алкаша?

— Он абсолютно трезв, он даже не притронулся к стакану! Это просто чудо двадцатого века. Он вообще с прибабахом, он хочет стать

членом СП! — ответил я и обнял жену.

— А где Джек? — спросила она.

— Я выпустил его, — ответил ты, и даже жена поняла, что сердиться на тебя невозможно.

Сын мой гостил на зимних каникулах у бабушки, и мы постелили тебе на его короткой кровати, ты спал клубочком, пожав ноги, и успокоенное сном, лицо твое остывало, краска сходила с него, и я увидел, что кожа у тебя нежная и тонкая.

— Как он будет жить в этом городе, бедолага, — сказала моя жена.

Сейчас я понимаю, не такой уж ты бедолага был, и я вспоминаю, как мы просили, чтобы тебя взяли заведовать клубом в той деревушке, потому что тебя нашла жена и приехала с маленьким сыном, я вспоминаю твои растраты и страх твой перед ревизиями, но ведь не было страха, когда ты купил для клуба ротатор и напечатал на нем свою первую книжку, а потом уговорил казахского классика дать рекомендацию, и классик, наверное, удивлялся плохому шрифту и серой бумаге, но плохо читал по-русски, а потому не мог удивляться стихам...

Утром карусель нашей жизни начала новый круг, и подставив лицо под кран, я холодом воды выгонял хмель и сон, что-то жевал на ходу, а потом бежал по узкой тропинке через снежное поле к забору с колючей проволокой, огораживающему секретный завод... А ты сидел дома у нас и писал стихи на маленьких листках, вырванных из блокнота и разбрасывал их везде, где только мог. Мы находили их и смеялись над неумелыми строками и нам было весело с тобой. Единственное огорчение — ты выпустил Джека.

Бедный пес, смелый охотник, он не вернулся тогда. Я нашел его тело только весной, когда стаял снег, он погиб от заряда крупной дроби, и морда его была в пуху. Я похоронил его в огороде с воинскими почестями, выпустив в голубое небо зеленую ракету.

Ты тогда почти не выходил из дома, тебе ведь ничего не было нужно, кроме стихов, а мир был хорошо различим в окне нашей спальни, которое выходило в сад, где на вишневых деревьях уже завязались клейкие почки.

Все наши намеки о том, что пора бы поискать работу и жилье, ты пропускал мимо ушей, у тебя была своя какая-то странная теория о том, что дома, оставшиеся от прежних жителей, не принадле-

жат никому, они общие, а посему можно жить в любом...

Веня больше не появлялся и ты забыл про него. Зато пришел из кругосветного плавания мой друг Поэт, крикливый, талантливый и задиристый — маленькая, заносчивая птичка. Если раньше по вечерам он устраивал мне «театр одного актера», то теперь вы нашли друг друга: скачущий выпивоха и трезвенник, который был всегда опьянен предчувствием поэзии.

Поэт не признавал твои стихи, но все-таки — как вы подошли друг к другу! На Поэта невозможно было обижаться. Ты это понял и не обиделся даже на ту эпиграмму, помнишь:

Все графоманы перемрут,
А вместе с ними Афельруд!

Я бы обиделся, я бы на твоём месте взорвался и врезал бы Поэту, но ты был другим тогда. Мы выпили вдвоём, и ты запел, а Поэт сел перед тобой на полу, по-турецки скрестив ноги, прислонился к твоим ногам также, как это любил делать Джек. И ты понял, что Поэту надо погладить уши.

Еще я помню тот скандал, что закатила тебе твоя жена, и как она выволакивала тебя из моего дома, возвращала тебя в свою жизнь, и, наверное, была права. Она возвращала тебя в мир, где мужчина должен зарабатывать деньги и сидеть за рулем своей машины, в мир, где были ревизии и холодный клуб в заброшенной деревеньке. Она была по-своему права, мой Афельруд, ведь в тебе не было таланта. Но зато, какое желание петь, какая устремленность! И что мы все со своими талантами и знанием мира против твоего незнания и томления. Мы при жизни зарыли себя, и даже ракеты нет, чтобы почтить наш уход, ведь последнюю я выпустил на похоронах бесстрашного Джека.

ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС

Впервые Ковров возвращался в порт на чужом судне. Все произошло так быстро и неожиданно, что оставалось только руками развести. Всегда был нужен, второе лицо на траулере, а тут будто все перевернулось. Нелепая радиограмма из управления — и тебе уже нет места. Как будто не могли дождаться конца рейса. И с каким ехидством капитан преподнес все: «Надо теперь считать деньги, мы на аренде, а у вас целых два пая!» Что такое два пая на большой экипаж — копейки, если поделить на всех. Не в деньгах дело — жаждал избавиться, а как же, теперь никто ему не указ, уже не будет тайком водить к себе Марину, да и остальные, глядя на своего капитана, развернутся. Вспомнит еще не раз — на ком все держалось, вспомнит, да поздно будет.

Ночью, укладываясь спать в просторном судовом лазарете, — каюты для него не нашлось, — он почувствовал, как все раскаляется вокруг, и голова становится тяжелой, будто ее налили свинцом. Возможно, сказалась атмосфера помещения, помнившая о всех страдавших на этих, сейчас пустующих белоснежных койках. Обиды подступали с новой силой, и захотелось даже заболеть по-настоящему, чтобы не вылезать из лазарета до самого порта, чтобы приносили сюда еду и не лезли с расспросами. Хорошо хоть, судно транспортное, из другой конторы. Вроде бы и не должно быть знакомых. Ход быстрый, дней семь — и дома, а там что-нибудь да решится. Не он один такой, на каждом судне — первые помощники, что же их всех одним махом сократят? Надо отдохнуть, набраться сил. Тревожить здесь никто не станет, пассажир он и есть пассажир, человек на судне временный, кому какое дело

до него, не появившись на палубе — никто и не вспомнит...

Утром, как чувствовал, не хотел идти на завтрак, пошарил в холодильнике — пусто, долго стоял под душем, потом курил, и все-таки не выдержал, подумал все уже поели. Однако не рассчитал — в кают-компанин было полно людей, и когда он вошел, буквально кинулся к нему здоровенный рыжий детина — Венька, ходивший вместе с ним на траулерах. Венька широко улыбался, вертел длинными руками и гремел на всю кают-компанию:

— Константин Иванович! Сколько зим! Какими судьбами?

И уже обращаясь ко всем сидящим за утренним чаем:

— Коллеги, да вы знаете, кто среди нас, это же гроза всех промысловиков, сам Константин Иванович!

Все на минуту перестали прихлебывать чай, подняли головы, зашептались. Ковров кивнул и заставил себя улыбнуться.

Венька, обрадованный неожиданной встречей, подсел рядом и все говорил и говорил и не отошел, пока не условились встретиться у него в каюте, вечером после вахты.

До обеда Ковров бродил по судну и курил, делать было абсолютно нечего, читать не хотелось, а просто так пролеживать бока на койке в пустом лазарете было утомительно.

Судно было из серии банановозов, которые носили на борту названия ветров. Это было «Пассат». Шло полным ходом на всех четырех машинах. Ветер с силой дул в правую скулу и рвался вдоль многочисленных надстроек, иногда судно гулко шлепалось носом по волне, как будто кто-то бил по воде большой лопатой. Разрезанная литым форштевнем волна столбом воды поднималась у борта и скатывала палубу, в потоках на мгновение рождались слабые радуги и тотчас исчезали. Матросы скребками чистили рубку, в корме двое молодых длинноволосых парней баловались со шлангом, норовя облить друг друга, а когда это удавалось, отчаянно визжали.

Набирают во флот кого попало, зло подумал Ковров и чертыхнулся. Доступно стало каждому море. И он вспомнил, как прежде трудно было устроиться на суда заграничавания, как тщательно все проверяли, как он сам в кадрах выяснял всю жизнь человека до малейших деталей. А эти вышли в море, как на прогулку, тем более на транспорте — здесь работы с гулькин нос, да и не до работы таким, им бы скорее на заход, в импорт, а там попробуй уследи за ними. Их

бы на путину в прежние годы, на сететряски бы поставить, да лед еще чтобы попробовали скалывать с палуб. А у них теперь курорт, круиз бесплатный. И женщин на транспорте предостаточно, не то что на траулере — где всего одна-две, да и тех лучше бы не было. Из-за них весь сыр-бор, сколько они крови попортили ему, Коврову, за всю его морскую жизнь, разное бывало. Как вот тогда с Венькой, видно, опомнился, зла не таит, а был горячий... Да и не таких обламывали. Кто хочет визу потерять? — закроют, а потом ходи — доказывай...

После обеда в лазарет, где расположился Ковров, пришла черноволосая женщина с лохматыми бровями, сросшимися на переносице, с большими лучистыми глазами, в белом коротком халате, открывавшем стройные ноги. Она вошла запросто, это было ее хозяйство. Очевидно, подумала, что он, Ковров, возвращается в порт из-за какой-то болезни. Объяснять, что она ошиблась, что его списали, открываться, что он первый помощник, — Ковров не захотел. Вспомнил про свою больную печень, когда стал рассказывать, даже почувствовал какую-то резь в боку, давно уже не тревожила его эта печень — а тут на тебе, недаром говорят: все болезни от нервов — и только две от удовольствия, теперь уже три — надо добавить СПИД...

Женщина закурила, ей не хотелось уходить, как и всякий судовой врач, она редко имела дело с больными, а здесь был случай освежить свои знания. Но наконец она поняла, что лечиться Ковров не собирается, и даже покривилась:

— Обидно, что вы не доверяете мне, — сказала она, — но я не буду вас принуждать. Хотя в печени-то я кое-что смыслю, у меня самой она пошаливает.

Ее каюта была напротив, через приоткрытую дверь. Ковров разглядел широкую, почти домашнюю кровать с кружевной накидкой на подушках, на стене виднелись цветные фотографии. Ковров упорно отмалчивался, и разговор у них не складывался.

Когда она ушла, Ковров встал и побрел на палубу, где свободные от вахты мотористы играли в бильярд. Бильярд был судовой, и шары здесь заменяли шашки, но кий, правила лузы — все было, как на обычном бильярде. Ковров дождался очереди и по тому, как он взял кий и сделал первый удар, все поняли, что игрок он высокого класса. Он ловко пускал шашки в лузы, развлекаясь, бил не на пря-

мую, а от бортика, пренебрегал явными подставками, выстраивал шашки так, чтобы загонять их в лузу одну за другой. Пошли за судовым чемпионом — токарем. Ковров начал игру удачно, потом неожиданно допустил подставку и все же оставался близок к победе, когда почувствовал, что немеет левая рука, удары уже перестали быть точными. Он бросил кий и, ни слова не говоря, повернулся и медленно пошел к надстройке. Он услышал, как кто-то хохотнул за его спиной, очевидно токарь. Ковров ускорил шаг и, когда зашел за надстройку, остановился и размял руку, — ничего страшного, можно было и доиграть. Этот токарь — ему не соперник. Удар свой он, Ковров, отточил за долгие годы морских вояжей. В любой игре был непобедим — и шашки, и шиш-беш, и даже шахматы, не говоря уже о преферансе. Да и вряд ли найдется на флоте такой первый помощник, который не поднаторел бы во всех этих играх. Вахту нести не надо — времени свободного много, особенно, если рейс без захода в иностранный порт. Заходы и женщины — вот что отнимало время. А в последние рейсы еще и этот раскардаш, что назвали перестройкой, у всех языки развязались...

До ужина он провалялся на койке, вглядываясь в белый подволок и причудливые темные пятна от сырости по углам. Он старался ни о чем не думать. Лазарет напоминал ему комнату в общежитии мореходки, тоже более десятка коек, такая же холодная голубизна стен — и причудливые пятна. Последний курс все решал — куда распределят, зависело не только от оценок, могли в Заполярье ткнуть, а вот достался не худший вариант — почти в центре Европы, близость границ, здесь глаз да глаз нужен был. Об этом и говорили те двое в темно-синих костюмах, которые пришли в комнату, когда все остальные, кроме него, Коврова, вертелись на танцах в медицинском училище. Было лестно, что тебе доверяют, что становишься помощником наследников Железного Феликса... Это сейчас все кричат — убийцы, а тогда — почетно было — на тебя пал выбор, ты отвечаешь за многих...

И скольких удалось спасти, остеречь, не дать им скатиться в бездну.. Хороши бы они были, если бы он, Ковров, после рейса, как и положено, ни о чем бы не умалчивал. Нет, никто не может упрекнуть его — он сам все предупреждал, сам не спал ночами. И не было ни разу случаев побега на тех траулерах, где он отвечал за людей. И

в заграничных ни одного скандала. Главное вовремя предупредить...

В море люди разные, хотя и проверяют каждого и комиссия визу открывает, но чтобы человек предстал в своей сути, с ним надо пусть не пуд соли съесть, но хотя бы один рейс вместе пробыть. Взять хотя бы этого Веню, Голиков, кажется, его фамилия, язык у него — главный враг и ложное фанфаронство, набрал в Амстердаме журналов антисоветских, да не таился — открыто, старший группы, конечно, сразу доложил, такие дела в то время не прощали, не видать бы парню моря, а все же удалось повернуть все на аморалку, не за антисоветчину вздрючили, а все в тот скандал уперлось, когда застали его с буфетчицей. Королевой ходила — не подступись, всех гнала. А после — шелковой стала, даже прозвище ей вlepили — вездеход. Глаза у ней были, как у этой судовой врачихи, только еще шире и брови соболями. Ну и статья, конечно, куда этой докторше, эта уже третий калач, а та в первый рейс шла...

...На полдник Ковров не пошел, но и находиться более в пустом лазарете не мог. Было ровно пять часов — время вечернего промсовета. Ковров не выдержал, встал и пошел в радиорубку.

Иллюминаторы в радиорубке были открыты, и Ковров встал у переборки, с безразличным видом провожая взглядом барашки волн, расходящиеся от борта. В рубке сидело судовое начальство. «Пассат» еще совсем недалеко отошел от района промысла, слышимость была хорошая, но дела промысла уже никого не волновали, потому капитан «Пассата», угрюмый и неповоротливый детина, больше слушал анекдоты, которые травил его помощник, нежели голоса своих коллег в эфире. Очередь его, Коврова траулера, была в числе последних из выступающих. Ковров терпеливо ждал. Была в душе смутная надежда — услышать о пролове, а может быть, даже о каком-нибудь ЧП, не исключено, могли и напиться — запасы там, на траулере, были. Выдавали их только с его, Коврова, разрешения. Перекубуются там все по пьянке, наломают дров — всего можно было ожидать. Поймут, как опрометчиво было это решение — списать человека, на котором держался порядок. Не все приказы берега надо столь спешно выполнять. Там, на берегу, тоже ошибаются. В любом деле нельзя пороть горячку. Почему, он, Ковров, должен отвечать за всю ту бойню, что устроили большевики, он ведь не только партию

на судне представлял — мало ли что название — по политической части, он экипаж воедино свинчивал, всех в руках держал. Куда они денутся, без первых помощников им гроб. Раньше, в той царской России, которую сейчас взхлеб нахваливают, тоже ведь не обходились на кораблях без подобных людей — были на каждом судне попы. Называют сейчас первых помощников — попами, вроде бы в насмешку, а ничего зазорного в этом нет. Он, Ковров, на такое прозвище не обижался, в нем суть, в этом прозвище, схвачена.

В эфире между тем слышались голоса капитанов, всех их знал Ковров, со многими приходилось работать вместе, вот дорвался до микрофона Строев, тому верить нельзя — плетет подряд, все хитрит, все ему мало рыбы, а вот и Козлов — вкрадчивая лиса, — здесь уж чего лебезить, это не в управлении перед большим шефом, но уж натура такая — никуда не деться. А как извивался Козлов, когда с его траулера сбежал боцман, проворонить такое — все свернул на своего первого помощника, конечно, тот был во многом виноват. Но что может сделать один человек, время подошло — стали языки развязывать, страх исчез, всем море по колено. Потенциального бегльца всегда можно выявить в начале рейса. Вот раньше, когда он, Ковров, только начинал ходить в море, все было поставлено так, что никуда бы этот шелудивый боцман не смылся. Помнится, и перед первым рейсом инструктировали в госбезопасности, потом дали список надежных людей, в рейсе они были подмогой, был даже среди них такой, кто бы на все пошел, преданный человек, плотник судовой — Мухамедов, тому специальное задание было дано, обязан он был в случае побега кого-либо из членов экипажа ранить себя ножом, чтобы капитан смог заявить о розыске преступника, а Мухамедов в полиции подтвердил бы, что беглец совершил преступление — нанес ему, Мухамедову, удар ножом. Да, была тогда дисциплина, не то что сейчас, и работали на совесть, сил не жалели...

А теперь вот Козлов на весь эфир заявляет: если не будет получено добро на увеличение валотной доли заработка, экипаж решил прекратить траления. Дожили... Ну, ну — господин Козлов, почувствуй, каково без первого помощника, попробуй сам урезонь рвачей...

Ковров сплюнул, презрительно хмыкнул, придвинулся ближе к раскрытому иллюминатору, почувствовал — сейчас его траулер выйдет на связь. И вот сквозь потрескивания и морзьянку послышался

знакомый тонкий голос дамского угодника:

— Ночью сопутствовал успех, три траления на глубинах сто семьдесят метров к осту от района баз, пятьдесят тонн, стоим на якоре, обрабатываем рыбу, породный состав — скумбрия, в прилове — луфарь, вся команда вышла на шкерку, вся...

— Во дает! — удивился радист в рубке. И капитан «Пассата» тоже откликнулся, взял микрофон, выкрикнул в эфир:

— Удачи тебе, давай доказывай, что не зря взялся за аренду!

Ковров отстранился от стенки радиорубки, резко шагнул к трапу, ведущему на шлюпочную палубу, какая-то горечь скопилась внутри и виски сдавило. Знает, что слушаю промсовет, понял Ковров, вот и выпячивается — стоим на якоре, вот какие мы, нам теперь и ловить не к чему — рыбы полно — и все шкертят, без первого помощника всех организовал. Раскудахтался! Сегодня есть рыба — и ты на коне, а завтра что запоешь?..

И зачем кричать на весь эфир? Только для того, чтобы задеть его, Коврова, вдогонку еще раз подколоть! Ведь сейчас все траулеры к нему побегут! Нет, не просто задеть хочет. Это его извечное пижонство — показать всему флоту — вот я какой, первым вышел на аренду, даю людям заработать! Дешевое пижонство! Весь он такой — вертлявый, жаждущий славы, пальчики тонкие, такими пальчиками не рыбу шкерить, а женщин ласкать, вот в этом деле он специалист. Никто теперь ему не помеха! Хочет быть чистюлей, казаться таким непогрешимым. Это даже представить трудно — с первого дня рейса запретил читать радиограммы. Как ему ни доказывал, что это необходимо, ни в какую. Хороши бы были они в позапрошлом рейсе, если бы не проверяли тексты, другой был капитан — старый морской волк, понимал — без этого не обойдешься. Попали в пролов, каждый норовил списаться с судна, вот и давали на берег шифровки, чтобы оттуда получить ответы, заверенные врачами, у одного вдруг — сестра при смерти, у другого — мать требует ухода, у третьего — отец в аварию попал. Только быстро он, Ковров, эту игру разгадал... А этим, молодым, никакая аренда не поможет, развалит флот...

Перед ужином у Коврова резко сдавило грудь, он почувствовал, что задыхается, полчаса лежал неподвижно, пока боль не стихла. Он твердо решил, что к Веньке Голикову не пойдет, не покажется и на ужине, сошлетя на боли в груди, не хотелось

ему никого видеть, ни с кем он не желал разговаривать, тем более с этим своим давним соплавателем.

Но отвертеться ему не удалось. Венька зашел за ним, уговаривал настойчиво, да и сам Ковров не в силах был долго сопротивляться, внезапно он почувствовал голод, пожалел, что пропустил ужин, и сдался перед Венькиным напором.

В каюте у Вени Голикова был накрыт роскошный стол, самодельные рулеты, жареные цыплята и даже зеленый огурец, нарезанный тонкими ломтиками, и, конечно, бутылка водки — прямо из холодильника с запотевшим зеленым стеклом.

— Вы уж извините, Константин Иванович, нету нас более ничего другого, домой идем, вот бы в начале рейса встретиться, а теперь — последняя бутылка, — суетился Голиков, наполняя граненые рюмки.

Ковров залпом опрокинул рюмку и сразу почувствовал облегчение, боль в груди исчезла, и мягкое приятное тепло начало разливаться по телу. Зря он хотел избежать этой встречи, Голиков все правильно понял, не помнит зла, даже благодарен за то, что спас его тогда, в том злополучном рейсе...

Говорили о разном, вспоминали совсем другой рейс в Тихий океан, самый первый рейс Голикова, Ковров только теперь вспомнил, что да, действительно, были вместе, Голиков был тогда тихим, незаметным практикантом из мореходки, рыба шла тогда необыкновенно, просто невозможно было ее обработать, брали на выбор — сколько хотели. Загрузили трюма и устроили праздник, совпали и День рыбака и переход экватора Веселье учудили! Сейчас так не умеют, от души все было. И Голиков вспоминал теперь все взахлеб. И все это было приятно слушать Коврову, ведь это он, Ковров, тогда затеял — праздники тоже надо уметь организовать, человеку не только кнут нужен, но и пряник...

После третьей рюмки Ковров окончательно раскрепостился, все уже казалось ему не таким страшным, он чувствовал, как возвращается к нему прежняя уверенность в себе, он стал много говорить, стал поучать, проповедовать.

Голиков поощрительно кивал, улыбался, пил, правда, мало, но зато налегал на закуску.

— Узнаю прежнего комиссара! — сказал он. — Давайте, Константин Иванович, за всех женщин, любивших нас! Давайте за Клару!

Ковров поднял рюмку, мелькнуло в голове — почему за Клару, кто эта Клара? Жена Голикова? И только после того как осушил рюмку, — дошло до него — так ведь это та буфетчица, из-за которой Голикова списали на берег. Ковров поперхнулся, откашлялся, запил водку холодным соком и устался на Веню.

— Ты меня зачем позвал? Счеты сводить? Торжествуешь — твое время пришло! — не сказал, а почти выкрикнул Ковров.

Судно качнуло, задребезжали рюмки и что-то скрипуче звякнуло за переборкой. Веня рукой придержал бутылку, но наливать больше не стал.

— Полноте, Константин Иванович, какие счета, — протянул он, — я вам, можно сказать, даже благодарен. Меня ведь тогда визы на год лишили, а я на берегу пять лет отсидел в службе мореплавания. Успел за эти годы институт кончить, так что специальность получил, вот закончу рейс, еще один сделаю и преподавать пойду...

— Что же ты преподавать будешь? — удивленно спросил Ковров.

И когда Голиков ответил, что философию, раскатисто рассмеялся.

— Надо же, — выкрикнул Ковров — философию, ну какой с моряка может быть философ! В море не до философий, в море действовать надо, действовать на упреждение, все рассчитать — и трах — влечь, трезво все рассчитать. Не быть раззявой! Не ты — так тебя — вот наша философия!

— Это все в прошлом, надо вам, Константин Иванович, курс менять, — протянул Веня.

Ковров хмыкнул, этому ли шалопаю учить его, конечно, перевертышей сейчас много, да вот что они запоют, когда власти очухаются...

— Ты меня, Веня, только не учи как жить, — сказал Ковров и откинулся к переборке. Почувствовал спиной гладкую полированную поверхность, постарался расслабиться. Что теперь ему этот Венька, ишь философ, начитался в свое время антисоветчины, теперь может и другим мозги пудрить. Были бы сейчас вместе на траулере, быстро бы поставил его на место...

— Помните наш первый рейс, — сказал Голиков и посмотрел пристально, будто впервые видел своего гостя. Ковров как ни си-

лился, но вспомнить тот рейс не мог.

— Помните, после того рейса многие списались, — продолжал Голиков, — хоть и заработок был хороший...

И тут Ковров наконец вспомнил, ну да, конечно, это был рейс на Банку Джорджес, золотой рейс, именно после того рейса он, Ковров, купил первую свою машину, подержанную «Волгу»...

— Говоришь списались многие, — протянул Ковров, — кишка у них тонка была, лодыри, болтуны, вот кто списался...

— А я ведь тоже тогда попросился на другой траулер, — вдруг признался Голиков.

— Это ты по молодости, — сказал Ковров, — сил у тебя еще не было рыбацких, хватки, злости морской...

— Нет, силы у меня тогда были, я ведь в училище спортом занимался, на мастера шел... Не в силе и не в зароботке дело было. Из-за вас народ с траулера уходил, — сказал Голиков и покраснел.

— Ну вот выдумал! — Ковров даже с места подскочил. — Ну ты даешь, да со мной люди всегда охотно шли, верили мне люди!

— И такое было, откликнулся Голиков, — и я ведь вам поверил в том рейсе, когда меня списали. Вы ведь мне ключ от ленинского уголка специально подсунули. Как же вы антисоветчику поручили делать газету, да еще и Клару прислали, помните?

— Что-то ты, Веня, городишь, это ты при себе оставь — тебя тогда аморалка спасла, не Клара — так сушил бы ты сухари. Я тебя, сопляка, прикрыл! — выкрикнул Ковров.

— Эх, Константин Иванович. А вы все такой же, вам бы покаяться, оглянуться, а вы все такой же! — с горечью произнес Голиков, потом встал, вынул из рундука полиэтиленовый пакет, положил туда недопитую бутылку, предварительно заткнув ее пробкой, и протянул пакет Коврову.

Ковров пакет взял машинально, при этом Веня, подавая пакет, оттеснил гостя к двери. И как-то уже само собой получилось, что Ковров спиной приоткрыл дверь...

В лазарете Ковров не раздеваясь плюхнулся на койку в надежде, что сработает хмель и сразу придет сон. Он закрыл глаза и постарался ни о чем не думать, однако обидные венины слова не давали покоя и опять, нехорошо сдавило бок и пришлось привстать, чтобы боль отошла и затаилась внутри. Сильнее всякой боли душила

обида. Возникал перед глазами Венька с растянутым в улыбке ртом. Талдычил — покаяйтесь. А в чем каяться? Жил все время для людей. Рейсы по шесть месяцев, дом свой заброшен, не заметил, как составила жена, выросли дети. В чем каяться? Все сейчас валят на большевиков. Вот и на траулере, в этом последнем рейсе, только и разговоров, что о зверстве большевиков. Впервые с таким столкнулся — на судне капитан беспартийный, нет, не потому, что, как и все, вышел из партии недавно, не был он в партии никогда, да разве бы раньше такого кадры пропустили? А теперь он на коне. Специально в салоне заводил разговоры о ГУЛАГе, о допросах в ЧК, о Берии... Называл его, Коврова, не иначе как — комиссар. Вроде бы и почетно, но звучало все время с подковыркой. Тут же тебя назовет комиссар, а вслед заведет очередную свою бодягу о том, как комиссары поднимали на штыки лучших российских генералов, как насиловали благородных барышень или еще что-нибудь похлеще выдумает. Почему он, Ковров, должен за всех отвечать. Ну были перегибы, так на то они и революция, и война, иначе ее не выиграешь. Народ надо в строгости держать, сейчас вожжи отпустили — и все под откос полетело. Этот же капитан-правдолюбец открыто крутите буфетчицей, сидят обнявшись в салоне у всех на виду, никто им не указ. Разве так можно, ну побаловался ночью — твое право, ты — капитан, хозяин на судне, а на людях изволь не замечать свою пассию. Так всегда делали и капитаны, и он сам, Ковров, на все есть свои правила. И женщины, когда рвутся в море, знают, на что идут. Рейс длинный, все равно любая не выдержит, так кто ей будет лучшей защитой — матрос или первый помощник... Ну и конечно, капитан... Клара этого не хотела понять, буфетчица, а по совместительству уборщица кают комсостава, ходила по палубам словно английская королева. Еще и до промысла не дошли, как, нате вам, первый скандал, ворвалась в капитанскую каюту с криком: «Я не буду убирать у первого помощника! Нога моя не ступит в его каюту!» Капитан под ее напором стушевался, забился в кресло. А в чем причина — чушь какая-то. Он, Ковров, ни на чем не настаивал, ни к чему ее не принуждал, ну погладил мимоходом, скажи какая беда. Идешь каюту убирать так надень рабочий халат, специально его тебе выдают, а то явилась в юбке до пупа. «Вы должны оградить меня!» —

наскакивает на капитана. От чего оградить, кто тебя насилует? Сама на все будешь согласна. Тут и этот случай с Веней подвернулся. Инструктировал же всех — никакой литературы не брать. А если бы раскрылось все — Вене конец, но и ему, Коврову, не поздоровилось бы... А теперь этот судовой философ еще и мораль будет читать! Если тебе дали ключ от ленинского уголка и если там есть диван, это не значит, что надо на него валить женщину... Нет, специально он, Ковров, ничего не подстраивал. Знал, конечно, что тает Веня при виде, буфетчицы, понимал, что и той — молодой штурман слаще, чем, положим, капитан или первый помощник. Сказал только тогда боцману, посмотри, мол, закончил ли Голиков газету делать... Тут-то и попались голубки. И это был самый лучший исход для Вени, списан за аморальное поведение, забыты все эти «Континенты» и «Посевы»... А Клара что же, женщина не виновата, пусть остается, пусть работой и поведением докажет, что имеет право ходить на судах заграничавания. И ничего она из себя не представляла в постели, с удовольствием уступил ее капитану, тот тоже пару ночей провел с ней, а потом перевел в буфетчицы матросского салона, чтобы и на глаза не попадалась... Хорош бы был Веня, если бы с такой судьбу свою связал. Моралист хренов! Что-то у них есть общее с капитаном траулера. Все они знают, все понимают... Теперь еще и к религии протянулись, вдруг оказалось — верят в Бога, на груди у всех крестики... Скоро перед отдачей трала будут судовой молебен устраивать. Навроде тех мусульман, что были лет пять назад на практике. Надо трал выбирать. Каждый человек расписан, все на своих местах. А тут солнце в воду садится. Так эти — на колени — и трава кругом не расти — у них вечерний намаз...

Знал капитан траулера, что не по нутру ему, Коврову, все эти разговоры о церкви, и специально затевал их за обедом. В последние дни все рассуждал о покаянии, может ли быть прощен грех, второй штурман — его подпевала, тот из себя вообще самого набожного корчил, утверждал, что главное исповедоваться в грехах, что даже разбойника Христос простил. А капитан специально, чтобы уколоть его, Коврова, заявлял: «Коммунистам не дано покаяние, слишком велики грехи. Христос и не предполагал, что

человек может так озвереть. Вот у нас был случай, сосед мой, коммунист до мозга костей, почувствовал, что все — кончается жизнь, и черти у него в глазах замелькали, кричит благим матом, ему советовали исповедоваться, позвали священника — ничего не пошло!» Таких случаев мог нарассказать нарочно не придумаешь. И это капитан. Образованный человек. Нет, с ума все походили! Сейчас, наверное, закончили они луфаря шкерить. Сидит в рубке дамский угодник, Марина рядом прильнула, и утверждает, что Бог ему послал удачу, что вот и рыба пошла, и приказ дельный — всех первых помощников с судов убрать... Обидно все это.

Надо было встать, закрыть дверь, но не хотелось подниматься. Вроде бы и просторный лазарет, но душно в нем, воздух лекарствами пропах. Не могли нормальную каюту выделить. Разве раньше поместили бы первого помощника в лазарет. Любого бы выселили, а каюту предоставили...

В одиннадцать, видимо, после фильма, пришла врач. Дверь в ее каюту была приоткрыта, и Ковров невольно увидел, как она переодевается. Сидела на кровати, расставив ноги, расчесывала волосы, между короткой рубашкой и чулками виднелась смуглая полоска, тело у нее было крепкое, упругое, хотя наверняка ей уже за сорок. Потом она накинула розовый халат и раскрыла книгу. Опытная баба, по всему видно, эта не станет жеманиться и корчить из себя недотрогу. Судовая врачиха, наверное, огни и воды прошла. Женщина и должна быть такой, раскованной.

Теперь вернешься на берег — и другая, пресная жизнь. Жена расплывшаяся, как кисель. Привыкла всю жизнь за его спиной, глазки жиром заплыли, а выйти с ней на улицу, так нельзя даже на другую женщину посмотреть, доброхоты наговорили ей всего... На работу, говорят, трудно устроиться, да и профессии считай никакой. Голиков вот успел институт кончить, философ... Наверное, оформят пенсию, и сиди дома... Длинные утомительные вечера, попреки, болезни... Позвать что ли врачиху... В последний раз...

Ковров долго ворочался, ждал, когда врачиха выключит свет, а она все шуршала страницами. Он сел на кровати, перекурил и наконец решился сделать несколько шагов, разделяющих лазарет от ее каюты.

— Я вижу, вам тоже не спится, — сказал он.

— По-моему, я не звала вас, — сухо ответила она, отрываясь от книги.

Он не разгадал решительного отказа в ее голосе. Так, подумал он, они всегда набивают себе цену, не первый год ходит в море, зачем же манерничать? Ей же тоже скучно. Молодые все в экипаже, это не для нее. А они бы подошли друг другу. Целая неделя перехода, целая неделя...

Он подошел к ней вплотную, положил руку на гладкое плечо, сквозь тонкую ткань халата ощутил притягивающее тепло, вдохнул запах тонких духов и наклонил голову к ее лицу, пухлые губы были совсем рядом с его щекой, их глаза встретились. Она выставила руки, пальцы у нее оказались крепкими, пальцы хирурга. Но он пересилил их сопротивление, сжал одной рукой, а второй скользнул под халат, провел по ноге, добрался — почувствовал, сейчас еще немного, надо расшевелить ее...

— Все будет хорошо, нам обоим будет хорошо, — прохрипел он.

Она неожиданно резко оттолкнула его, запахнула халат и отскочила к переборке. Ковров двинулся к ней.

— Если вы приблизитесь ко мне, — крикнула она, — я подниму такой шум, вам не поздоровится!

Впервые на борту судна женщина угрожала ему. Ковров хмыкнул и сжал пальцы в кулак.

— Кричите, поднимайте любой шум, — он постарался улыбнуться, — вас все равно никто не услышит!

Она рванулась к полке, схватила скальпель и выставила острие перед собой.

— Вон, сейчас же убирайтесь вон из моей каюты!

Ковров рванулся к ней, сжал ее руку, она охнула и выронила свое оружие. Он навалился на нее все телом. И в это время какой-то шум раздался за дверью.

— Мария! Мария! — кто-то звал врачиху, и Ковров отпрянул и замер.

Сейчас она позовет на помощь, все — конец. Он знал много подобных случаев. Все можно так распisać, что век не отмоешься.

Он кинулся к двери, юркнул к себе. Какая-то тень колыхнулась в коридоре. Ему показалось, что он узнал, кто это. Конечно, Голиков. Это он все подстроил. Сговорился с врачом. Решил отомстить. Не удастся — нет свидетелей. Всегда надо заранее запастись свидетелями...

Ковров вскочил в лазарет и запер за собой дверь, пусть теперь ломаются, пусть стучат, он никому не намерен открывать. Он ничего не знает, он крепко спал. Быстро и суетливо Ковров стащил с тела мокрую от пота рубашку, скинул джинсы и бросился на койку. Света он не зажигал. За иллюминатором тоже была непроглядная тьма. Сердце билось учащенно, надо было бы поискать валидол, но сейчас нельзя было зажигать свет. Может быть, Голиков стоит за дверью, может быть, уже не один, составят акт, документ потом не переспоришь...

Он почувствовал, как что-то комком сжалось внутри, как перехватывает дыхание. Проклятые нервы, никогда он так не переживал случившееся, глупость какая-то, осталась всего неделя до берега, это все Голиков с его бутылкой, это все он подстроил... Надо встать, надо собраться с силами. Ковров попытался подняться, но тело уже не слушалось его...

На миг все затуманилось, будто кто-то ударил по голове, звенело, как будто били в колокола. Когда он пришел в себя и снова обрел возможность слышать не то, что звенит в голове, а другие звуки — удары не исчезли, теперь уже все гремело и трещало вокруг. Он понял — стучат в дверь, но не было сил откликнуться, он беззвучно открывал рот...

Слышались какие-то крики. «Надо ломать дверь!» Потом женский голос — «Торопитесь, еще немного, и мы ничего не успеем!» И кто-то пытался успокоить женщину: «Пьян он попросту, пьян!» И в ответ — женский голос: «Я пьяного от сердечника могу отличить!»

На дверь навалились, лопнула задрайка, еще один удар, с треском выбили замок. Ковров захрипел, надо объяснить, он не был у Марии, это все выдумка. В глазах потемнело, лица у ворвавшихся людей показались слишком черными... черти... Ковров захрипел. Голиков склонился к нему, слов было не разобрать.

«Про... Про...» — слышалось Голикову.

— Да расступитесь же вы все, надо делать искусственное... несите скорее шприц...

Веня Голиков отпрянул от койки, лицо Коврова наливалось синевой, глаза были выпучены, будто великий страх напал на него. И Веня догадался — это был страх смерти, а может быть даже не самой смерти, а страх перед расплатой. Ведь он же пытался что-то сказать, и это хриплое оборванное — «про...» — могло быть — «простите», или — «прости», если обращено к нему, Голикову.

Стояли вокруг молча. Мария сидела на краю койки, бессильно опустив руки...

ТУМАН В НИДЕ

Вот уже третьи сутки Нида окутана слоями тумана. Поселок, и до этого тихий, впал в какое-то первозданное состояние. Безмолвие повисло над ним. Кажется, все вымерло. Лишь птичьи крики да прерывистые сигналы наутофона. Лучи маяка не в силах пробить мглу, и настойчивые гудки вызывают к невидимым судам, предупреждая о близости береговых отмелей. Из белой пелены проступают островерхие крыши домов, и эти крыши, и верхушки деревьев, внизу скрытые белизной, будто повисли в небе и вот-вот стронутся с места и поплывут над тобой. Ни ветерка. Кроны сосен застыли, словно вылепленные из воска. Твои шаги глухо отдаются в напряженном воздухе. Одежда пропиталась сыростью и стала тяжелой.

Глубокая осень. Грибная пора. Из парной, набухшей земли проклевываются маслянистые головки. Надо только нагнуться, припасть к самой земле — и тогда они возникнут перед тобой — желанные овалы рыжиков, застенчивые подберезовики, скрытые в песке зеленушки, лоснящиеся маслята. Грибы не интересно собирать одному. Не перед кем похвастаться своей находкой. Раньше я всегда вытаскивал в лес своих друзей, я заражал их страстью к грибной охоте. Никто из них уже никогда не придет сюда. Грибной запах не поселится в комнатах, где наперебой стучали пишущие машинки. Иные люди с беззвучными компьютерами сменяют нас. Они не могут отличить сыроежку от поганки. И не выходят из комнат в такой туман. Да и кому придет в голову собирать грибы в такую погоду?

Это опасно. Углубишься в лес и сразу можешь стать нарушителем границы. Как распознать — где ее невидимая черта? Не вертит-

ся в ее существование — она обозначена лишь таможней и будками на главной дороге, но уже строят что-то грандиозное — стену или железный занавес — кто их разберет. Лес и залив не имеют границ. А если бы и были разделения — туман отменил бы их. Туман охраняет лес от праздных туристов и грибников. Теперь здесь слишком сыро. От обильной росы становишься сразу мокрым, тяжелеют ботинки, и стараешься уйти к дороге, найти эту дорогу. И тут при отсутствии солнца теряешь всякие ориентиры. Где Нида? В какой стороне ее уютные дома? Стоишь и вслушиваешься — откуда идут сигналы наутофона? Звуки не застревают в тумане, не теряются — они приобретают главную реальность. Нет ничего — только клочок земли вокруг тебя, все остальное неизведанная белая мгла. И только спасительные звуки. Они не повторяются — звуки без эха. Попробуй крикни — и нет тебе отклика. Может быть, ты уже десятки раз нарушил границу, может быть, бредешь вдоль нее. Никто не окликает тебя. За все это время не проехало ни одной машины. Границы рисуют на картах самолюбивые политики: это мое, говорят они, и делят землю. Для тумана и волн залива не существует границ.

Вслушиваясь в тишину, вдруг обнаруживаешь дальний плеск. Пробираешься навстречу ему. И вот идешь вдоль залива, сопровождаемый убаюкивающими вздохами прибоя. Море, спасающее от тоски и скованности берега. Но сегодня и его ширь поглотил туман. Я вижу только узкую темную полосу. Песок скрипит под ногами. Выходишь к пристани — застыли в воде безжизненные яхты с обвисшими парусами, притоплены у берега мшистые заброшенные баркасы. Можно — вычерпать воду, столкнуть их на ленивую вздрагивающую гладь залива. Можно уплыть на них навстречу туману, но одному это не под силу.

Ржавый амбарный замок на дверях яхтклуба. Свернутые рыбацкие сети засыпает песок. Сезон кончился. Забыто время путины. Далеко в залив уходит мол — причал, одетый камнем. Узкая взлетная полоса. В солнечные дни хорошо идти по ней навстречу водному простору. Сейчас же, в тумане полоса обрывается, бредешь по ней — и не видно конца, вокруг только вода и пелена спрессованного влагой воздуха. Можно представить себя где угодно. Может быть, на иной планете, безликой и всеми покинутой, может быть, на рыбацком сейнере, затерявшемся среди тумана — приборы не работа-

ют, определить координаты невозможно — и надо уповать на небеса и терпеливо ждать, когда развеет белую стену...

Белый цвет вмещает все другие цвета и оттенки, их надо только уметь различить, уметь посмотреть на мир своими глазами. Придал же Моне сиреневый цвет лондонским туманам. Никто не хотел ему верить. И годы спустя лишь уверовали — он прав. Я вглядываюсь в туман над Нидой, в нем, пожалуй, лишь немного голубизны. Он остается для меня только белым. Он затягивает меня в свои бездны, он испытывает мое терпение. Он вытягивает из меня извечные вопросы. Что же дальше, куда плыть, где твой оставленный берег? А если плыть — то зачем? Кто ты есть в этом призрачном мире? Разумно ли его начало...

И почему не развеивается туман? Наверное, переполнилась чаша наших грехов, терпение Всевышнего кончилось. И туман никогда не рассеится. Он — преддверие потопа. Но никто не предупрежден заранее, не осталось ни одного праведника на Земле, и новый Ной еще не родился. И потому никто не построит ковчег, и нет голубя, который, выпущенный на разведку, вернулся бы с масляным листом в клюве. В дни такой тишины, проникающей в тебя, понимаешь, как призрачно и кратко твое существование на земле, и как глупо использовал ты часы, отпущенные тебе. Ты давно уже заблудился в тумане. Зачем же тогда продолжаешь метаться? Писать после Освенцима? Мыслимо ли... Слово было вначале. Теперь оно истерлось, покрылось сукровицей. Ты не поводырь и не аптекарь. У тебя нет рецептов. Чайки надрывно плачут, сочувствуя тебе. Добытки легкой пищи, скорые на подъем — белые баловни волн. Может быть, в их криках заключена тайна невысказанных слов? Была же убежденность у поэта: «Солнце останавливали словом, словом разрушали города...» У поэта, не сумевшего словом остановить пулю. Дано ли словом развеять мглу? Другой поэт, получая Нобелевскую премию, недаром усомнился в силе слова. Если бы так было, сказал он, я писал бы постоянно всего одно слово — мир, мир, мир... И все же — ищите и обрящите, кричите — и отзовется...

Вечером в пустом кинотеатре фильм — сентиментальный и бездарный, ты почти один в зале. На полотне талантливые актеры гибнут в бездне слов. О потрясающие времена немного кино — где вы? Смотреть и не слушать. Выдумать новые диалоги. Еще десять дней

назад в этом зале было полно зрителей. Шел традиционный осенний съезд фотографов, людей, стремящихся остановить мгновение. И специально для них — шедевры мирового кино — «Земляничная поляна», «Красная борода», «Голод». Но тогда светило солнце — и грешно было уходить в темноту и жить в выдуманном мире. Но сейчас и этого нет. Пусты санатории и пансионаты. Конец сезона. И не только сезона. Цены в «баксах». Для «новых русских» и для иностранцев. Ты здесь в последний раз...

Иные люди в писательском доме. Раньше вокруг были друзья. Теперь — один. Днем, в попытке убежать от себя, прогулки по городу, надежды на встречу. В тумане женщины всегда загадочны, ты видишь только силуэт — и значит, не испытываешь никакого разочарования. Безликие немые тени. Чужая страна. Все реже слышишь здесь родную речь, да и нужны ли тебе чьи-нибудь слова...

Скорее назад, в уютную теплую комнату с письменным столом, настольной лампой и кипой белой, как туман, еще неисписанной бумаги. Можешь выдумывать свою судьбу... На бумаге оживить мир, наполнить его друзьями, любимыми женщинами, рассеять туман, поверить словам, невольно ввергая в обман и себя, и других...

ПРИЗНАНИЕ

Прости меня город, я долгое время не любил тебя. Да и до любви ли нам было среди развалин и битого кирпича, на кладбищах, превращенных в парки культуры. Я был плоть от плоти, кровь от крови тех солдат, которые штурмом овладели твоими бастионами. Мог ли я плакать над твоими руинами, если мой родной город на Псковщине вообще был стерт с лица земли, а близкие мне люди были зарыты там живьем на крепостном валу. Я приехал к тебе не по своей воле, меня направили на корабельную верфь, где рабочий день переходил в ночь и не оставлял сил для прогулок по твоим разоренным улицам. Ты не дал мне даже приюта, город, и не вправе обижаться на меня. Жена моя рожала тебе нового жителя, но и ей здесь не было места. Я жил в заводском общежитии, где в комнате стоял густой запах алкоголя, грязных носков и едкого пота; я засыпал под пьяное бормотание таких же, как и я, горемык и просыпался в половине шестого, чтобы успеть влезть в полукрытый грузовик. Рано утром несколько таких машин подъезжали к общежитию и мы штурмовали их; там, сжатый человеческими телами, в сплошной тьме на тряской, искореженной взрывами дороге, мог ли я думать о твоих каштанах и уцелевших особняках. Улицы за парком культуры, те, где сохранились особняки, открылись мне только через год после приезда.

Я был тогда докмейстером, в доки мы поднимали суда и ремонтировали их; была трудная постановка, мы подняли траулер с выдвинутой трубкой лага, что-то там случилось с этим прибором, втянуть трубку в корпус рыбаки не могли, и нам пришлось с ювелир-

ной точностью провести судно между клеток, чтобы не поломать эту трубку. Когда судно успешно подняли, было уже совсем темно, я собрался домой, но капитан траулера уговорил меня отметить это событие. Он очень хотел отблагодарить меня и буквально заставил влезть к нему в машину. Я устал и полудремал, откинувшись на спинку сиденья, так что где был тот особняк, сказать точно не могу. Очнулся я в просторной комнате, за уставленным яствами столом, видимо, капитан успел предупредить жену заранее. Жена была явно моложе капитана, этакая златокудрая красавица из иллюстраций к детским сказкам. Да и все вокруг походило на сказку. На полках стояли великолепные статуэтки, с потолка свешивалась золоченая люстра, а на стене висела завораживающая взор картина, на которой прогуливались по белому снегу упитанные немецкие бюргеры с собачками. «Гольбейн-младший, подлинник!» — сказал капитан, перехватив мой взгляд. Я встал и потянулся к картине. Многочисленные зеркала отразили меня. О, ужас, я был в грязной спецовке, а мои ботинки оставляли мокрые следы на коврах. Мы выпили пару бутылок, смущение мое исчезло, мы говорили на равных. Капитан лобызал меня и видел во мне спасителя, ведь с него могли вычесть за заклинивший лаг, он совал мне в подарок какую-то статуэтку — пастушок трубил в рог, я отказывался и объяснял, что мне некуда ее принести. Капитан захмелел окончательно, жена его ушла еще прежде наверх, оказывается там тоже были комнаты, видимо, там располагалась спальня. Я покинул гостеприимный дом и долго плутал среди деревьев, пока не вышел на проспект, а потом еще около часа брел до общежития.

Утром, узнав о моем посещении капитана, мой сосед по общаге, сказал: «Понахватали, суки, всего!» Много позже я бывал не раз в гостях в подобных домах, в квартирах, превращенных в музеи. Здесь жили обкомовские работники, воинские начальники, которым все досталось по праву победителей, и торгаши, успевшие перекупить часть особняков у победителей. Это был другой, неизвестный мне и чуждый мир. Но уже тогда я понял, что хозяева особняков чего-то боятся. Во всяком случае, почти каждый особняк был огражден высоким металлическим забором, и вдоль почти каждого забора бегали сторожевые псы. Наш главный инженер тоже жил в таком особняке. На встрече с нами, молодыми специалистами, он

долго рассказывал, как строил корабли в Комсомольске-на-Амуре и как они жили там в палатках среди тайги. Мы доказывали, что в наших направлениях на работу было записано: с предоставлением жилплощади. Он и слушать об этом не хотел, завод не собирался строить дома, надо было срочно сдавать очередной военный заказ. «Вы комсомольцы, будущие руководители производства, должны являть всем пример, а не требовать невозможного! Земля здесь чужая и возводить дворцы мы не собираемся!» — выкрикнул он своим густым басом и потом еще долго стыдил нас за буржуйские замашки.

О, если бы я жил в особняке, среди каштанов и лип, возможно, я сразу полюбил бы тебя, разрушенный город, возможно, я понял бы твою суть много раньше. Но уделом моим еще долго оставалась койка в общежитии на улице Богдана Хмельницкого, в огромном многоэтажном зеленом доме, стены которого во время праздников сотрясались от бурных плясок и пьяного хорового пения. Уделом моим был завод. Город в городе. Я бывал во время студенческих практик на многих верфях, но такой не видел. Все здесь хранило следы бывшего порядка. Цеха располагались в просторных зданиях, застекленные крыши делали их светлыми, адвигающиеся во всех пролетах краны подавали стальные листы точно в необходимое место. Широкие, как проспекты, дороги разделяли эти здания. Наклонные и горизонтальные стапели начинались прямо от зданий и уходили в воду. Внутренние помещения и отсеки доков были выкрашены такой краской, что нам ни разу не пришлось их ремонтировать. Мой помощник, прибывший на завод сразу после падения города, рассказывал, что в раздевалках везде была аккуратно развешена рабочая одежда и даже лежали нетронутые бутерброды. Почему был разрушен город и не пострадал завод? Почему почти ни одна бомба в августовскую ночь, когда налет авиации крушил город, не упала сюда? Надо ли было щадить англичанам военный объект? Надо ли было сохранять завод, который явно отходил в нашу зону? Для меня это до сих пор загадка.

И еще рассказывал мой помощник, что вода в гавани была столь чистой, что просматривалось дно, а главное, прямо с доков можно было удить рыбу. К моему приезду это осталось только в воспоминаниях. Маслянистые круги не исчезали с поверхности гавани, брев-

на и мусор постоянно пригоняло с противоположного берега западными ветрами.

Вот чего немцы не догадались — трамвайные рельсы до завода проложить. Устали мы в грузовых машинах на работу ездить. И было много субботников, работали на совесть, знали — для себя. И вот уже как белые люди, едем стоя в трамвае, не согнувшись, правда, в тесноте, но терпимо. Опять немцев клянем. У них колея узкая, трамваи маленькие, как игрушечные, сюда бы наши российские — в них больше народа влезает. И все же какая это прелесть — трамвай. Есть окошки широкие — видно, где едешь. Вот только пейзаж однообразный — пустые пространства, не то озеро, не то болото, несколько барачков справа, да двухэтажные дома рабочего поселка. Какой это город?

Разве могут здесь обитать писатели? Их-то и в столицах почти не осталось, а здесь — провинция — так думал я тогда, дерзнувший писать прозу в стране, где за правдивое слово людей, в лучшем случае, сажали в психушки. Я смирился с тем, что писать надо «в стол» и работать инженером. За плечами у меня были школа ленинградских стилистов и отвращение к тем, кто жаждет напечататься и получить за это еще и деньги. «Раз тебя напечатали, значит ты где-то солгал, ты угодил им — большевистским церберам!» — так не раз повторял мой литературный Учитель на берегах Невы.

И вот в один из темных и дождливых осенних вечеров, вернее, уже ближе к ночи, дверь в нашу общежитскую комнату распахнул посланец Учителя, явившийся из Северной Пальмиры очень известный в те годы поэт. Он стоял в проеме дверей, щурясь сквозь толстые линзы очков, и не решался сделать шаг в пространство, заполненное дымом и пьяным мычаньем. Он выманил меня из-за стола и сразу спросил: «Ну как ты здесь, сдружился с писателями?» Разве здесь есть писатели, удивился я. «Едем!» — приказал он. И мы помчались в ночи, на такси к неизвестной мне улице, носившей имя великого анархиста князя Кропоткина. Там, на этой улице, мы вошли на второй этаж старинного дома, нас впустили сразу в квартиру, не спрашивая — кто мы? И огромный, рыжеволосый и краснокожий детина в желтых плавках, также не расспрашивая нас ни о чем, а лишь поочередно и на мгновение обняв, начал читать стихи и читал их нам всю ночь наизусть. Все стихи были его собственного сочинения. Тогда они показались мне безумно смелыми.

Так я обрел друга-поэта и эта дружба наша продолжалась до самой его смерти в глухом литовском селе. Сердце его разорвал инфаркт. Сборник его стихов вышел только в годы перестройки...

Вся жизнь моя впоследствии была связана с литературой, и сначала прожита, а потом повторена в повестях и рассказах, которые тоже во время не увидели света, а то и вовсе остались только моим личным достоянием.

Мог ли я любить тебя, город, отвергающий поэтов?

В те же первые годы, когда я приехал сюда и только начинал здесь жить, мне зачастую было не до стихов и не до рассказов. Ночные докования, сдаточные испытания, обилие спирта — вот был мой удел. Я ждал приезда жены и годовалого сына, я жаждал обрести свой угол.

И вот, наконец, получил комнату в рабочем поселке — и сколько было радости, правда, не получил, не то слово, — вселился, вернее, мой помощник вселил, ему, как фронтовику и старожилу, дали квартиру в новом доме. А он привел меня в свою. Вещей у меня не было, лишь связка книг в руках. Помощник оставил мне свою железную кровать, и еще топор дал. «Никого не пускай, ни профкомы, ни завкомы, твоя это будет жилплощадь! Пошли они все к трепаной матери!» Одному двухкомнатная квартира — не жирно ли! И отдал я комнату другу своему, у него жена с дочкой приехали, деваться некуда. А проход мы заложили кирпичами. Образовалась ниша. Поставил я там полки, и на полки книги свои — томик Хемингуэя, Евангелие — бабушкин подарок, стихи Пушкина, и Бунин, тогда еще редко у кого он был. С этих книг и началась моя библиотека, и к приезду жены успел я всю нишу книгами уставить. Но мебель я не покупал, твердо было решено: отработаю три года — и до свиданья, чужая земля. Зовут и в Питер, и в Ярославль, всюду наши однокурсники. Города свои нахваливают. А меня — от самого названия воротит, да и переспрашивают, это какой Калининград, под Москвой что ли? Приходится объяснять, что Кёнигсберг это, тогда понимают.

Бедный город, вот же дали тебе имя, увековечили старца, приешника кровавого диктатора. Хитрован был — всесоюзный староста, вид простецкий, народ ему верил, писали жалобы, а он свою жену из лагеря не мог вызволить, даже не съездил к ней ни разу, тряся за свою жизнь, зато других жизни лишал безропотно, сколько расстрель-

ных списков через его руки прошло! За что же такое издевательство над нами и после смерти его — калининградцы — вот кто мы!

А чтобы не забывали, прямо у вокзала сооружен памятник с протянутой рукой. Добро пожаловать, мол, в город моего имени. И не один он был явлен на пьедестале. Жить было негде, на дома денег не хватало, а на идиолов большевистских всегда пожалуйста. На центральной площади, конечно, вождь пролетариата, неподалеку от него генералиссимус, а у проходной порта — сразу оба сидят на скамейке, два неразлучных, очевидно в Горках. Был я свидетелем позже, как убрали эту сладкую парочку. Ночью дело было, у меня докование поздно кончилось, ехал я последним автобусом. Смотрю, плывут в небе, у Ленина строп на шее, а сатрап его уже без руки, обломали, когда стропили.

Немецким памятникам тоже не везло, и после войны продолжалось разрушение. И не только отдельные фигуры низвергались с пьедесталов, а рушились сооружения, которым стоять бы и стоять еще века. Тому пример Королевский замок, который мог бы стать украшением города, его культурным и туристским центром. Сколько сил было потрачено на то, чтобы развалить его стены и башни. И взрывали, и танками растаскивали, пока не сровняли с землей, чтобы позже возвести на этом месте Дом Советов — бетонного двуглазого монстра, так и не достроенного до сих пор. Если признаться честно, в те первые годы жизни среди развалин я не очень и горевал о твоих разрушениях, мой город. Ты оставался мне чужим. Родиной ты стал для моего сына, которого годовалым привезла сюда жена и который не знал и не помнил других городов.

Когда он подрос, то стал вместе с другими пацанами, своими сверстниками, играть среди развалин. В мир его детства вошли разрушенные замки и кирхи, поиски старинных вещей и оружия, и главное — увлекательные путешествия в подземных ходах. Придя с работы, мы подолгу искали его, ругали, наказывали, но ничто не могло отвратить сына от ставшего ему родным таинственного разрушенного города. Да ведь и не только пацаны — мои рабочие на заводе тоже устремлялись под землю. Сколько я наслышался тогда про подземный город, с придыханием рассказывали друг другу фантазмагорические истории. Про людей, заблудившихся там, про солдат, которые еще со времен войны блуждают в подземельях, про

несметные запасы еды. Про то, как сварщик из двадцать пятого цеха нашел два кирпича, вроде бы и обычных, а стал очищать — оказалось чистое золото, и как потом он сбывал это золото в Сухуми и чуть не попался; про нищего, который обнаружил в замковых подземельях склад фарфоровой посуды и стал миллионером. Особенно много рассказов было о Янтарной комнате. Тогда появилась первая книга о ней, и все бросились на поиски.

Город, существующий под землей, так и не открылся нам, входы в него постепенно исчезали, строились новые дома, заливались асфальтом новые дороги, под фундаментами этих домов, под асфальтом этих дорог скрылись чугунные крышки, закрывавшие лазы.

Казалось, все делалось, чтобы стереть с лица земли старый город, постепенно разбирались развалины, кирпич нужен был для строительства жилья, дач, сараев. Ведь каждый обустроивался как мог. Ценные предметы старины, добытые в подземельях и развалках, становились домашней утварью. Но так ли легко отобрать прошлое?

Росло другое поколение. Камни бульжных мостовых, руины собора, барельефы на стенах, готические шпили, черепица когтистых крыш, бойницы старинных фортов — стали ландшафтом детства наших сыновей и дочерей. Им дано было восстановить связь времен.

А я в те годы жаждал покинуть тебя, чуждый для меня город. С большим трудом мне удалось вырваться из заводского мира и перейти в рыбацкую контору в надежде обрести свою судьбу на палубах рыбацких траулеров.

Море давно притягивало меня. В первые годы жизни в разрушенном городе летом почти в каждый выходной мы уезжали на пригородных поездах к морю. Нигде я не видел таких просторных пляжей, как в Светлогорске и Зеленоградске — незагаженные, дающие простор воображению, с неповторимыми береговыми пейзажами, они наполняли душу чувством свободы. На третий год пребывания в этих краях мне открылась Куршская коса. Тогда ее пытались именовать Курской, не только ее название — все переименовывалось. Такого понятия, как туризм, не было. Власти не хотели признавать уникальность этих мест, да и въезд в область был далеко не прост. Автобусы по косе тогда почти не ходили, нередко мы от Зеленоградска добирались пешком до Лесного, потом шли до первых дюн и с первобытным восторгом скатывались по песку к морю. Вокруг ца-

рила девственная тишина, наши крики были чужеродны и неуместны, и мы смолкали, прислушиваясь к скрипу песка, к равномерному плеску прибоя. Иногда море выкидывало на берег янтарные камешки. Мы тогда не знали им цены, спокойно раздаривали гостям и друзьям из других городов, и вместе с ними восхищались теплотой и загадочностью солнечного камня. Всегда хочется чем-то похвастать — вот, мол, у нас какое чудо, у нас настоящий янтарный край! Однажды на попутке мы с друзьями доехали до Ниды и удивились — то же море, те же дюны, но как все обустроено, с какой любовью выстроены непохожие друг на друга дома. За Нидой мы отыскали дом, в котором творил Томас Манн, крутая лестница от берега моря вела к комнатам великого творца. Потом, перечитывая его тягучую философскую прозу, я понял, что в ней заключены ритмы моря. Здесь ему всегда хорошо писалось. Здесь очень многим хорошо писалось. Почему же этот край оставался чужим для меня? Почему я без сожаления расставался с ним...

Вдали от берегов, в бессонные ночи тоски по этим берегам все обретает иную реальность. И твой дом, пускай он и среди развалин, становится якорем, притягивающим душу. После шести месяцев морских скитаний и утомительной работы мы возвращались в родной порт. Долгую и томительную ночь торчали на рейде Балтийска, всматриваясь в неясные огоньки берега, а с восходом солнца начали движение по каналу. И томление, и беспокойство царили на палубах. Траулер медленно входил в канал, и мы видели совсем близкие берега, деревья с клейкими, только что распустившимися листочками, молодую сочную траву, белые домики с черепичными крышами, и в лучах восходящего солнца открывался нам порт, а за ним вдали силуэт города, и его шпили казались сказочными, и весь он издали не производил впечатления разоренного и не был нелюбимым. И я понял, что весь рейс мечтал об этой минуте. А на пирсе уже стояла толпа, женщины с цветами, машины...

Так впервые, мой город, я признал твои права на мою судьбу... И я понял, что все это время ты был не просто место моего обитания, ты прорастал во мне новыми побегам, где видения прошлого смешивались с настоящим. Короткие пьяные промежутки между рейсами не позволяли закрепить возникшие чувства, зато всякий раз возвращаясь сюда, я резче замечал перемены. Исчезали разва-

лины, вставляли новые дома — пусть безликие, пусть стандартные — но ведь им радовались все горожане — и те, кто получал в них квартиры, и те, чья очередь сокращалась, и кто вот-вот тоже должен был стать очередным счастливецем.

Я тоже получил квартиру на улице 1812 года, некогда носившей имя славного генерала Йорка. Поначалу я тосковал по своей старой квартире в немецком доме, расположенном в заводском поселке — там так роскошно цвели вишни у нас под окном, там был простор. А здесь дома стояли плотно — один к другому, но были своя прелесть — улица эта, одна из немногих, почти сохранила свой прежний вид, и на каменных стенах домов можно было прочесть надписи на немецком, и почти не изменилась принадлежность этих домов: больница оставалась больницей, пожарная часть пожарной частью. Узкая старинная улица, но одно корбило глаз — наши новые дома смотрелись здесь как чужеродные, никто из их строителей не задумывался о том, чтобы как-то состыковать прошлое и сегодняшний день...

Если бы не морские походы и не рухнувший железный занавес, я, наверное, так бы и прожил в неведении, пообвык бы, прижился в тебе, город, среди серых однотипных зданий обретя свой угол. Но все познается в сравнении. Я увидел и Гданьск, и Щецин — города с одинаковой судьбой. Некогда немецкие, затем ставшие польскими. Города любовно воссозданные, вставшие из развалин в первозданном виде, возродившиеся из руин и пепла, словно птица Феникс. Поляки столь же, как и мы, пострадавшие от войны, так же, как и мы, ненавидевшие фашизм, не стали мстить городам. Я побывал и в городе очень близком и родственном Кенигсбергу — в Любеке. Так получилось, что я остался с этим городом один на один. Никто ничего не объяснял мне. От стоянки нашего судна я поднялся вверх по узкой улице, вышел к городским воротам и вскоре очутился на главной площади. Всё вокруг было настолько ухожено, настолько вымыто и вычищено, что даже камни светились чистотой и затаенным теплом. Можно было сесть прямо на плитки мостовой, уложенные одна к одной, и не испачкать брюки. Вокруг степенно ходили улыбающиеся, сытые и вальяжные горожане. Не повышая голоса, о чем-то беседовали туристы, потягивая пенистое пиво из высоких фигурных кружек. Шпили соборов возвышались над черепичными крышами. Абсолютно белыми стенами выделялся дом, по

преданию принадлежащий Будденброкам. Оживали герои Томаса Манна. В замкнутом пространстве, окруженном крепостными стенами, шла неспешная, размеренная жизнь.

Я присел на скамейку, долго смотрел на ратушу, слушал перезвоны колоколов, и все было узнаваемо вокруг, и мне казалось, что меня перенесло в прошлое. Таким был ведь и мой город. И стало мне муторно и печально. Почему же они, побежденные, сумели восстановить всё, а мы — победители живем будто временные пассажиры на вокзале среди хлама и мусора. Почему мы не преодолели ненависть, почему не сумели воссоздать свой город? И я в те часы сидения на главной площади Любека стал осознавать, что я люблю свой город. Ведь недаром любит мать своего самого больного и неблагополучного ребенка более остальных — и это естественно. Она хочет его спасти, оградить от беды. Пусть процветает ухоженный стерильный Любек, но есть его собрат, и он, а не Любек, нуждается в моей любви.

Земля становится желанней после морских рейсов. Понимаешь, что в океанских просторах ты гость, а здесь, на суше, постоянный житель. Покончив с недолгим морским периодом в своей жизни, я стал открывать для себя город. Многие в нем изменилось. Несмотря на всяческие запреты и препоны, было восстановлено здание Штатхалле, где теперь разместился краеведческий музей, открылись просторные залы картинной галереи, восстановленные кирпичи стали — филармонией, другая — кукольным театром. Поражал обилием и разнообразием деревьев Ботанический сад. Облагораживались берега Нижнего озера — бывшего Замкового пруда. Прогулки по проспекту Мира от памятника Шиллеру до парка открывали то, каким мог стать весь город, если бы не его поспешная застройка хрущевскими пятиэтажками. И особая прелесть обнаруживалась в небольших улицах за парком, где сохранились старые коттеджи, где каштаны и тополя, ели и туи заслоняли светящиеся окна и создавали впечатление некоей далекой сказочности.

В начале девяностых годов начался новый этап в жизни города, он стал открытым. Вереницы европейских туристов хлынули сюда, это была пора так называемого ностальгического туризма: приезжали в основном те, кто раньше жил здесь — они пытались узнать, вспомнить свой город. Появились гости и в моем доме. К тому

времени я получил наконец-то полноценную квартиру на улице Горького в десятиэтажном доме, она была пределом моих мечтаний. Перед окнами еще не застроенное пространство, и вдали зеленел парк Макса Ашмана, давно утративший свое старое название и назначение. Он не мог служить местом отдыха и был красив только издали, потому что внутри весь был неухожен и постепенно затягивался болотом.

У нас было две комнаты, и гостей — иноземных писателей и поэтов — мы укладывали в одной из них. Радость общения и встреч не всегда позволяла мне замечать их удивленные взгляды, их смущение. Потом уже, когда я с ответными визитами побывал в гостях у них — в Швеции и Германии, я понял, что им пришлось у меня претерпеть массу неудобств. Еще бы, ведь они жили в квартирах, где у каждого была своя комната, где было по несколько ванн и туалетов, а гостиная не была совмещена со столовой, и кухни по площади были не меньше моей большой комнаты. Ну да, как говорится, в тесноте, да не в обиде.

Но вот за что было обидно, да и весьма неудобно, это за грязь нашу. И дом-то наш был не старый, всего несколько лет ему, а успели дети наши все стены в подъезде расписать, в лифте тем более, и хорошо, что гости не знали русского языка.

И идет все это не от детей, взрослым ведь глубоко наплевать на всеобщую грязь, на замызанность стен, на кучи мусора во дворе, на поломанные кусты и деревья. И опять заграничные вояжи вспомнились, как у них там с мылом тротуары перед домом драют, как каждое деревце лелеют. Как любят свои дома и дворы свои. А мы вроде временщиков.

Прости нас за это, город. Мы еще все должны по-настоящему полюбить тебя.

Ведь ты, несмотря на наше нерадение, все же очень красив. Особенно весной, когда зелень скрадывает стены домов, когда ветер с моря несет соленое свежее дыхание. В будни и праздники. По вечерам, когда небо расцветает в фейерверках. По ночам, когда незримая тень Гофмана скользит по проспектам.

Когда приезжают гости или старые друзья, давно не бывшие в городе, я ловлю себя на том, что мне хочется показать свой город только с лучшей стороны. Я веду своих друзей в улочки особняков,

веду на Нижнее озеро, к стоянке «Витязя», в филармонию.

Я веду их на остров, где за зеленью так быстро подросших деревьев встает величественно здание Собора. Здесь еще ведутся реставрационные работы, но уже стоит шпиль, блестит медью новая крыша, уже готовы помещения протестантской и православной часовен, создан музей Канта. И каждые полчаса льется мягкая мелодия колоколов. Молча стоим мы у могилы Канта, и я горжусь, что живу в городе великого философа.

Никому не дано прервать связь времен. Прошлое оживает в камне, о прошлом напоминают форты и городские ворота. Вновь встал у университета памятник великому философу. Высится бронзовый Шиллер у здания драмтеатра. В парке скульптур на острове — молодой Петр. Здесь, в этом городе он постигал корабельное дело, фортификацию, здесь наводил мосты, соединяющие Россию с Европой. Я рассказываю своим гостям о Великом посольстве, о Семилетней войне, о декабристах и Карамзине, слушавших лекции Канта. То, что раньше замалчивалось, становится предметом изучения, городу постепенно возвращают прошлое.

Многое потеряно безвозвратно, многого не вернешь. Но нельзя не заметить и новые приметы. Да, время трудное, да — идет расслоение общества. И все же — никогда раньше не было такого обилия машин на улицах, никогда раньше не возводились вырастающие как грибы особняки. Их строят «новые русские», их строят люди, владеющие капиталом. Их вид вызывает раздражение у многих горожан, сегодня живущих у черты бедности. Зависть от нас тоже не отнимешь. Да и гнев людей зачастую справедлив, у многих владельцев этих новых строений капиталы нажиты далеко не праведными путями. А я все же радуюсь появлению каждого нового здания. Пусть вселяются в них богатые, пусть живут, как им хочется, но ведь кто-то будет теперь жить в тех квартирах, которые занимали владельцы новых зданий. А в этих новых зданиях потом будут жить дети, внуки новоявленных богачей. И эти дети, и дети этих детей наверняка будут не только банкирами и торговцами...

Строят себе новые здания-офисы преуспевающие фирмы, светятся огнями новые бензоколонки европейского типа, надстраиваются мансардами пятиэтажки. Возникают новые районы — пространство за моим домом буквально за несколько лет заполнилось

многоэтажками, на пустыре появился целый городок для военных — Сельма. Балтийский район, перехлестнув через Батальную улицу, тянется своими новостройками к Московскому району. Город заполняет пустоты.

Но никакие здания, пусть они самые распрекрасные, никакие памятники старины и тени прошлого не могут так привязать человека к избранному им и данному ему судьбой городу, если этот человек одинок в нем. Мне повезло, у меня много друзей — всё это талантливые и шумные поэты. Я люблю слушать их рвущиеся, клочущие голоса. Они рифмуют названия твоих улиц, мой город... В первые годы, когда мы приехали сюда, у нас здесь не было родственников, сейчас выросло третье поколение на этой земле, с годами мы обрели тех, кто продолжит здесь наши жизни. Сыновья, дочери, внуки и внучки, для которых город этот стал Родиной. Годы приносили и все новых друзей. Приносили и утраты. Могилы на городских кладбищах — это тоже то, что навечно привязывает к тебе, город.

Город необычной судьбы, город с европейской окраской, город, открывающий Россию западному миру, город с незамерзающими портами, город, который достоин того, чтобы полюбить его.

ПИСЬМО ДЛЯ БОГА

Впервые пишу тебе, Господи! О стольком мы переговорили за всю жизнь, не пересказать. И глупо, наверное, повторяться. Но изреченное слово — это одно, а запечатленное — совсем другое. И если бы не было записано все, что ты говорил устами пророков, насколько беднее стало бы человечество...

Понимаю, что если ты захочешь услышать меня, тебе не нужно мое письмо, ведь ты знаешь каждое мое слово, едва оно зарождается во мне. Ты, вездесущий, щедрый и вседержавный, в каждом дуновении ветра, в каждой травинке, в каждой капле дождя, в душе каждого из нас. Наверное, полагалось бы писать это письмо на самой лучшей бумаге, паркеровским пером, а не выстукивать слова на машинке, тем более на электрической, но кажется мне, что слова, соединенные с бегом электронов, получают иное распространение. И полагаю, еще лучше было бы набрать текст на компьютере, включить его в систему Интернета. Но зачем эти ухищрения, скажешь ты, Господи? Это все сродни чудесам, которых ждут язычники, чтобы утвердиться в своей вере. Во мне, признаюсь, все-таки тоже живет язычник.

У дверей моей квартиры не укреплена мезуза с молитвами — было бы просто, уходя или приходя в дом, одним касанием к ней — приобщиться к тебе, Господи. Но у меня другая уловка. У нас есть лифт, его особенность состоит в том, что почти всегда внутри темно. Заходишь и нажимаешь кнопку наощупь. Когда едешь вниз — это легко, первая кнопка — первый этаж. Но даже если ты ее нащупал и нажал — это не значит, что лифт повезет тебя сразу вниз, нет! — если лампочка не загорелась — тебя ждут остановки на каждом этаже. И всякий раз, когда я нажимаю кнопку, я обращаюсь к тебе,

Господи, слава имя твое. И всегда загорается свет. Маленькая светящаяся точка подтверждает, что ты услышал меня, Господи. Я вглядываюсь в нее. Словно ромашка, во тьме горит она, лепестки вокруг — и яркая точка в середине. Иногда это больше напоминает глаз, нежели цветок. В радужном колечке возникает зрачок. Я вглядываюсь в него, и мысли мои с тобой, Господи. Я неотрывно держу пальцы на кнопке, чтобы почувствовать связь со всем сущим в мире. Ведь невидимые токи, питающие глазок, проходят по многочисленным проводам, они рассеиваются в пространстве и способны нести не только заряды, но и слова. Мне становится тепло и уютно в темной кабине лифта, и я всегда стараюсь спускаться вниз в одиночестве, и если лифт занят, не вхожу в него.

Если я в лифте один, и лампочка загорелась, я говорю с тобой, мысленно я повторяю все твои имена: Суший, Эль, Всевышний, Бог цваот, а не Саваоф, как утверждает Библия, подвел перевод, на иврите цваот означает воинство — Бог воинств, Адонай, Шадид или Могучий, наконец, и Яхве, и Иегова. На одно из этих имен ты ведь должен отозваться. Но нет, никому из смертных не дано узнать твое истинное имя, увидеть твой лик. Ты, как воздух, невидимый, живой, теплый воздух. Вселенная — лик. Вселенная — твой адрес!

Мне вспоминается Стена плача, ее выдавшие столетия камни, не скрепленные раствором, но сросшиеся так, что уже никакой силой не разъединить их. В щелях торчат бумажки. Это письма к тебе, Господи. Успеваешь ли ты все прочесть? Ночью, в темноте, кошунственные уборщики выковыривают, свернутые в трубочки, листочки. Если бы их не выбрасывали, а занялись сбором и публикацией — можно было составить историю людских страданий. Ибо каждый обращается со своей болью, своими заботами. Я не оставил, когда был там, никакого письма, но думаю, что ты услышал меня. И не о продлении жизни я просил, ни о здоровье и славе, я просил у тебя разрешения на то, чтобы воссоздать прошедшее. Ведь если не напоминать о прошлом, оно быстро забывается и ничему не учит нас. Мы повторяем бездумно слова молитв и псалмов, слова твоих заповедей, и в который раз продолжаем нарушать их.

В самом начале пути, когда всего десять поколений отделяло людей от Авраама, с которым ты заключил свой союз, ты вынужден был написать заповеди на скрижалях, а когда в отчаянии Моисей

разбил их, ты повторил запись. Ты выбрал пастухов, кочующих по земле, не связанных уютom, тех, кто постоянно смотрел ночами на мерцающие звезды. Только они смогли понять, что никакие рукотворные идолы не смогли создать этот мир — твердь и воды, и зелень лугов, и птиц, легко парящих в высоте, и овец с добрыми и печальными глазами.

Но вокруг продолжали убивать друг друга, прелюбодействовать, воровать, лжесвидетельствовать. Губительные войны, испепеленные Содом и Гоморра, рвы, наполненные телами, — быстро забывались.

Люди, живущие по твоим законам, были столь редки, что их называли пророками, праведниками, святыми. В них совершенствовались души для последующих жизней. Освобожденные от телесной оболочки смертью, они воссоединялись с тобой. Но сколько мучений для этого надо было претерпеть. Я не претендую на роль праведника, слишком много грехов на мне и их не искупить никакими покаяниями. Мое долгое неверие в тебя, Господи, и сегодня продолжает терзать мою душу. Я не знаю твоих замыслов. Я не догадываюсь, почему нужно было уничтожить целые народы, зачем нужно было разрушать Храм, и уже на моем веку превратить в дым лагерных крематориев миллионы невинных душ.

Ты можешь сказать, что не бывает невинных душ, но ведь горели в страшном огне дети, их-то за что? Я чудом избежал участи этих несчастных. Какой замысел был в моем спасении? Был ли, постоянно находящийся в подпитии, молодой железнодорожник, светловолосый и пахнущий мазутом, твоим посланцем или просто так совпало, и эшелон, в который он втиснул нашу семью, был спасен ради кого-то другого. Нет, он явно не был ангелом, мой дядя. Но был он тоже спасен, когда бомба вонзилась в землянку прямым попаданием, в ту землянку, где ему не хватило места в середине на нарах, и он, мой дядя, лежал у входа, матеря ловкачей-солдат, успевших угнездиться в тепле. Всю жизнь он пил и гулял и весело вспоминал всемирную бойню, в которой ему удавалось полакомиться американской тушенкой и вдоволь испить не разведенного спирта.

Униженной чередой прошли его жены, которых всякий раз он изгонял из нашего послевоенного дома, вернее, из вагона, который тогда казался мне дворцом, ведь мои однокашники жили в землян-

ках. И вот последняя жена отыгралась на нем, уже после своей смерти, мелко и подло предав его. Она спрятала все деньги в тайнике, о котором знала только ее племянница. Эта племянница ловко стащила все после поминок. Она же оставила дядю умирать в пустой квартире, лежащего на полу со сломанным ребром. Следствие допроса о золоте, которого не было. Она была уверена, что дядя вскоре последует за своей последней страстью — ее теткой. Но дядю подобрали две стареющие алкоголички, привезли к себе в общежитие, и теперь существуют на его пенсию и ждут его кончины, ибо квартира дяди, ранее завещанная бесстыдной племяннице, ныне отписана спасителям. Притихший дядя лежит в углу за изодранным занавесом и ждет свидания с тобой, Господи. Хотя, вряд ли, он всю жизнь не задумывался ни о чем, великий грешник.

И все-таки, может быть, он твой посланец, Господи. А теперь ты испытываешь его, как некогда испытывал Иова самыми тяжкими бедами. Мой великий грех в том, что я не могу спасти своего дядю-спасителя. Как и не смог уберечь своих родителей от переезда в далекий город на Волге к двоюродной сестре, где они сполна испили чашу страданий, которую избрали сами. Каждый сам выбирает свою Голгофу. И тому, кто ищет спасения, ты его посылаешь. Ты много раз спасал меня, и я не уверен, был ли в этом какой-то божественный замысел, но я очень благодарен тебе за то, что ты вложил в меня любовь к слову, ибо оно начало всего, и сейчас я вхожу словом в то время, когда ты был так близок к избранному тобой народу, и голоса твоих ангелов звучали в устах пророков. Ты спас меня, хочется мне надеяться, затем, чтобы вновь зазвучали в моем воспаленном мозгу шофары, и я смог бы услышать шум опадающих крепостных стен Иерихона и звонкую арфу Давида. Разве это не так, Господи? Почему же ты сдерживаешь мое перо, почему оттягиваешь миг видений? Помнишь, я говорил с тобой об этом у Стены плача в Вечном городе, ожившем на седых холмах? Ты ведь знал, что я приду к тебе.

Иначе, зачем было вытаскивать меня из воды, когда я прыгнул с криолина дока на катер и оступился, еще мгновение — и меня растерло бы между доком и бортом катера, и я догадался тогда, что нужно нырнуть под обледенелые доски криолина в холодную декабрьскую воду. И потом, сколько раз я перепрыгивал с корабля на

корабль уже в океане, когда ходил на траулерах. Подо мной разверзалась бездонная стихия, палубы поднимались и опускались, и всегда я точно улавливал момент, когда следовало оторвать тело от настила, оттолкнуться и взлететь навстречу косо встающему из вод кораблю. И всегда, Господь, ты хранил меня. Но я тогда был молод и самоуверен и почти ни разу не вспомнил о тебе. И впервые какая-то догадка мелькнула, когда ты послал мне остерегающий сон.

Приснилось мне, что ночью стучат в окно. Мы жили тогда в рабочем поселке, в старом немецком доме, на первом этаже. В этом сне за мной заехал диспетчер. Это он так настойчиво стучал в окно. Была суббота, день седьмой. День отдыха от всех насущных дел, ты завещал его нам. Но диспетчер был послан за мной, потому что в порту с пробойнами едва держалась на плаву плавбаза «Балтика» и ее надо было срочно ставить в док. Тогда я был докмейстером и была у меня уже хорошая практика, и никто не смог бы заменить меня. И я долго отнекивался, объясняя, что все рабочие пьют, недавно была получка, и нам не собрать доковую команду. Но мы все равно попытались ее собрать. И в машину, полукрытый газик, набилось полно народу, но все это были люди не из моего дока, и все они были пьяны. И потом, когда мы погрузили док, они дремали у лебедок, а я бегал, как угорелый, по верхней палубе и будил их. Была осенняя ночь. Почти безветрие. Но, когда буксиры подтащили к доку полузатопленный корабль, вдруг поднялся сильный ветер и начал швырять «Балтику», и мы долго возились с тросами и с трудом поймали нос плавбазы и стали заводить ее. И тут ветром ее стало наклонять. Потом резкий рывок. И вот уже стальные борта надвинулись на бетонную башню дока, и та не выдержала, с хрустом развалился пульт, огромная трещина переполосовала док, еще мгновение... И я проснулся в холодном поту. После того сна прошло, наверное, полгода. И когда события начали повторяться, я даже не вспомнил страшных ночных видений.

Меня разбудили ночью, диспетчер объяснил, что плавбаза «Балтика» может утонуть, масса пробойн, надо срочно ставить ее в док, была суббота, я отнекивался, понимая, что мне не собрать свою команду, что все уже давно пьяны. И нам пришлось сажать в машину всех, кого мы сумели найти. Это были люди с других доков, и все они были пьяны. И все же мы сумели погрузить док, и начали заво-

дить несчастную плавбазу. И тогда поднялся сильный ветер. И «Балтику» стало мотать из стороны в сторону. И тут отчетливо я вспомнил сон. Мне надо было отменить заводку, я метался по пульта, не находя выхода. И все же, пересилив страх, я отдал команду завести дополнительные концы, велел буксирам одерживать, и, несмотря на ветер, усиливающийся с каждой минутой, продолжил заводку. Все обошлось, благодаря заведенным страховочным тросам. К утру мы вытянули плавбазу из воды и пили неразбавленный спирт с капитаном.

В те годы я вообще много пил — и не только потому, что была такая работа, после которой надо было снять стресс, пили и в тех компаниях, где собирались люди слова, молодые писатели томились от не востребованности, и никто даже и подумать не мог, что когда-нибудь правда найдет выход в печатных изданиях, что рухнет империя лжи. Тогда казалось все беспросветным. И уверяли все, что ты, Господь, отступился от России и давно уже обессилил. И за все это неверие ты покинул и меня. И в назначенный срок, когда мне исполнялось тридцать семь лет, послал за мной, вернее, за моей душой ангела смерти. Но я не услышал пения его труб. Очевидно, переселение на небеса было задумано безболезненным. И я бы нисколько не обиделся, если бы оно свершилось. Не мог, по моим тогдашним убеждениям, жить столь долго в моей стране пишущий человек. Даже великому Пушкину это было не дано. Почти все пишущие уходили до тридцати семи. Если это был у меня запланированный тобой уход, то он был великолепно обставлен.

Я тогда уже давно расстался с заводом, успел сходить в море и начальствовал в рыбацкой конторе, не надо всеми, конечно, был у меня технический отдел и конструкторское бюро, к тому же избрали в руководство научно-технического общества. И вот это общество заняло некое призовое место, нам выдали премию на семинаре, куда собрали таких же начальников, вроде меня, из прибалтийских портов. И, как водится, решили мы эту победу обмыть. Впрочем, что я тебе все это рассказываю. Ты ведь, наверняка, все видел. А если не видел, то ангел, наверняка, доложил, ведь этот ангел незримо парил над ресторанным столиком и ждал, когда я накачаюсь, чтобы переход в иной мир стал для меня совершенно безболезненным и незамеченным. И я не подвел ангела. Среди начальников был мой старый друг из Риги, и мы так радовались встрече, так угощали

друг друга, что можно было только удивляться, как в человека влезают столько жидкости. Играл в ресторане оркестр, вертелись вокруг нас официантки в кокошниках и красочных сарафанах. Мы танцевали, пытались петь. И вокруг все шумели, и плясали, и прыгали. В общем, настоящий шабаш для ведьм. Как я ушел из ресторана — не помню, как очутился под автобусом — тоже вспоминаю смутно. Очнулся я в гипсе, с разбитым лицом, в родной рыбацкой больнице — и радости никакой от своего возвращения в жизнь не чувствовал, ибо предстояло мне проваляться на больничных койках около года. Кто меня спас, кто подобрал и привез ночью в больницу — не знаю. Где оставил меня ангел смерти, как он не довел свое дело до конца — мне неизвестно. Конечно, это знаешь ты, Господи. Тогда я не молил тебя о жизни, я хотел умереть. Не видел я для себя никакого выхода. А сейчас, задним числом, благодарю тебя, Господи, что спас раба своего. Ибо увидел я иное время и даже вздохнул немного воздухом свободы и дождался внучек. И понял, что если бы я даже ничего не сделал на земле, если бы не изобретал, не работал в доках и на промысле, не совершал бы всяких земных дел, не писал, не издавал книги, не создавал бы журнал, все мое существование было бы оправдано этими внучками. Ибо прав ты, Господи, когда завещал нам — плодитесь и размножайтесь. И сделал сладким и приманичивым дело продолжение рода, угодное тебе. Но вкусив эту сладость, мы сделали ее не только источником жизни, она заняла все наши помыслы, переполнив их не только любовью, но и развратом и похотью. Казалось бы нет никаких запретов и ничто не может остановить. И вот СПИД! Зачем все это? Прости нас, Господи. Ты ведь сам всегда говорил о любви, ты ведь пребываешь с нами в момент соития и сладкие стоны — это гимн тебе. Ты ведь сам все так задумал.

Ты выдворил Адама и Еву из рая, из того рая, где не знали радости зачатия и мук рождения. Теперь, для потомков Адама зачатие становится гибельным. Может быть мы будем наказаны еще страшнее. Все в руках твоих, Господи! Ты дал нам то, что мы не оценили — счастье соития. Ты можешь превратить нас в тех отважных, многокрылых, чьи самцы гибнут тотчас после свершения зачатия, ты все можешь...

Я прожил длинную жизнь и мне ничто уже не страшно, но я молю тебя, Господи, прости тех, кто еще только начинает жить, кто

еще не вкусил сладости любви. И если где-то в лабораториях близки к тому, чтобы создать вакцину против СПИДа — помоги им и не таи на них обиды, не твоим делам они препятствуют, а напротив, дают возможность спастись несчастным и славить твоё имя.

Иногда я думаю, как тебе тяжело и одиноко, Господи! Ты знаешь судьбы каждого из нас, все мы в твоих дланях, и у всех свои радости и печали, у всех свои трагедии. Ты пытаешься остеречь нас, ты проникаешь в самые тайные наши мысли, ты посылаешь нам сны. Мы быстро забываем твои заветы, твои предупреждения, мы не используем то, что ты даровал нам. Мы не хотим заглядывать в будущее, мы так страшимся расстаться со своим телом, временной оболочкой нашей души, телом — источником нашего сладострастия. Кончина всегда пугает неизвестностью.

Совсем недавно ты дал мне почувствовать, как это происходит. В жизни я не видел сна страшнее. И хотя в конце его душа моя все же вновь обрела тело, но сколько страданий пришлось испытать ей. Я увидел свое тело на белой поверхности, наверное, это было в больнице, я понял, что его готовят к вскрытию и я наблюдаю это со стороны, а потом тело исчезло, и я, то есть моя душа, заметался. И тут мне вручили некий номерок, кусочек целлофана с рядом цифр, выведенных химическим карандашом. Я понимаю, что я должен найти свое тело. Сваленные трупы в морге были не самой страшной частью сна. Оказалось, что в областной больнице, под землей, есть еще одно хранилище для невостребованных тел. Туда я пробирался какими-то темными коридорами, пока не набрел на прыщавого сторожа, и он указал мне на лаз. Этот лаз был проделан в слипшихся, полуразложившихся телах. И настолько прогнили эти трупы, что мясо в них свободно отделялось от костей, и было впечатление, что и не человеческие это трупы, а куриные окорочка, срок хранения которых давно истек. Я пролезал, вернее, моя душа, проникала сквозь эти норы, проделанные в зловонной слежавшейся плоти, и от трупного запаха я стал задыхаться, и тут мне открылся новый зал, и там — рядами трупы, покрытые зелеными простынями, и я увидел бирки, привязанные к пальцам ног, ноги эти торчали из-под каждой простыни. Свою я узнал по сросшемуся ногтю на большом пальце левой ноги. На бирке был нужный номер, все вокруг озарилось необычным светом. И я проснулся. Сердце мое билось так, что, каза-

лось вот-вот выскочит из груди. И это не во сне, а в реальном полумраке комнаты, я отчетливо осознал, что душа моя продолжает воссоединяться с потерянным телом. Я был спасен и понял, что в который раз жизнь дарована мне. И в то утро, когда я лежал недвижно и ждал рассвета, и услышал первое пение птиц, я понял, что должен радоваться каждому новому дню. Я благодарил тебя, Господи, и славил твое имя.

Ты вечен, а дни сынов человеческих кратки. И становятся они, эти подаренные тобой дни, еще короче по нашей вине. Какой огромный мыслительный аппарат заложил ты в наши головы, как велико совершенство задуманной тобой программы, не дано и компьютерам превзойти человеческий мозг. И все это направляем мы не во благо себе. Изобретаем оружие, уничтожающее все живое, выращиваем смертоносные бактерии и готовы разнести на куски нашу несчастную планету. А могли бы все изобретения направить на то, чтобы совершенствовать тело свое и душу, могли бы жить как патриархи наши, по несколько сот лет. К чему завоевывать чужие страны, вырывать друг у друга территории, гибнуть на чужбине! Почему ты не уподобил нас деревьям, чтобы вросли мы корнями в землю и не собирали бы войска для нашествий, а мирно бы цвели и вдыхали ароматы пыльцы и радовались бы птицам и пчелам, и легкому ветерку, разносящим наше семя. И не убивали бы себе подобных. Ты ведь этому не учил, и у тебя был свой, неведомый нам план, Господи, ты ведь хотел подарить всем радость...

Я пишу это письмо и верю, что ты читаешь его тотчас же, как только возникают на листе мои слова. Легко писать, когда знаешь, что мысли твои дойдут до адресата. И не надо проверять, правильно ли указаны почтовые индексы на конверте, ибо адрес твой — все окружающее нас. В наше время перестали писать длинные письма, кровавые годы большевистского режима отучили от дневников и писем, ведь за каждое неосторожное слово приходилось расплачиваться. Это не девятнадцатый век, когда делились с друзьями в письмах самым сокровенным и философствовали, и раскрывали душу. Есть телефон, есть электронная почта, есть компьютеры, подключайся к Интернету — и твое письмо тотчас придет к твоему другу. Писать на бумаге ручкой или выстукивать слова на пишущей машинке — это уже атавизм. Но в моей юности, да и потом в шестидесятые и семидесятые годы, мы еще были привержены к письмам,

мы старались не думать о том, что наши письма вскрывают и читают люди в мундирах, мы все же хотели общения.

И было очень много друзей, и не все они жили на том расстоянии, когда письма можно заменить беседой. В юные годы дружба вспыхивает ярко и не терпит компромиссов. Мы все были влюблены в слово, для нас слово было важнее поступка, слово предшествовало действию. Был поэт, рыжий краснокожий детина, захлебывающийся от слов, выдумки его были великолепны, страдал он и страдали окружающие от того, что он потом верил в то, что сам придумал. Его писем у меня не сохранилось.

Был и самый близкий друг, мы вместе приехали в город на границе с Европой, разбитый и разрушенный, который не восстанавливали, скорее наоборот, его продолжали разрушать, вывозя кирпич древних соборов на колхозные стройки. Друг этот пробыл здесь три года. Он сжигал свою жизнь, и пока мы ютились вместе в прокуренной и пропахшей потом и алкоголем комнате заводского общежития, он еще держался, он еще пытался писать и рисовать. Потом он уехал на юг. И письма стали тем мостиком, что связывали нас. Их строки наводили на меня тоску, я почти физически ощущал его боль, она передавалась мне через слова, выведенные крупным, дрожащим почерком. У него отказала одна почка, и вот-вот должна была сдать вторая, врачи приговорили его к скорой кончине, и он заметался по России, прощаясь с местами, которые были святы для нас. Я получал тогда письма из Михайловского, из Коктебеля, из Ясной Поляны. Потом они прекратились. Он ослаб настолько, что не мог держать ручку. Это был совершенно чистый человек во всех его помыслах, и мне было страшно потерять его. Но ты, Господь, призвал его.

Так устроена жизнь — она в потерях и обретениях, но чаще — в потерях. Прервалась переписка и со школьным моим товарищем, с которым мы долгое время были неразлучны. И в школе, и потом в институте мы в то время, когда даже чтение таких безобидных писателей, как Хемингуэй и Экзюпери, рассматривалось, как низкопоклонство перед Западом, доставали и перепечатывали на старенькой, дребезжащей машинке Кафку и Сартра. Мы мотались по всем тогдашним сборищам в Питере, мы появлялись на всех мало-мальских известных литобъединениях. Мы искали правду и верили, что слово спасет нас. Прости нас, Господи, но у нас не было и грана

веры в тебя. Мы сами хотели стать пророками, но жизнь заставляла нас работать в иных сферах.

Я очутился на западных судоверфях. Друг остался в Питере, потом перебрался в столицу. Разлуки мы не чувствовали, потому что постоянно посылали друг другу длинные письма. И эти письма наметили излом, ту трещину, которая сегодня стала столь глубокой, что никогда уже не сплотить воедино тех, кто находится по разным сторонам разлома. Он, мой бывший друг, стал шовинистом, воинствующим святошей, — и письма потеряли всякий смысл. Я даже не знаю — жив ли он сейчас, тот, кто некогда был моим адресатом.

Был и еще один адресат — работал он контрольным мастером на доках. Все свои рабочие дни он проводил в моей каюте, куда я забегал в перерывах между разборкой лесов и стаскиванием винтов. Я совратил его на стезю искусства, Потом, когда он уехал в Таллинн, а позже в Питер, мы долгое время переписывались, и это тоже были не просто письма-отчеты о происходящих жизненных событиях, а письма-размышления, письма-споры. И все это продолжалось до тех пор, пока мой ученик преодолевал барьеры на пути в мир литературоведов, а когда появились в печати его критические статьи, то сначала они стали подменять письма, а затем переписка вообще угасла. Я давно уже не вижу его статей в периодике и думаю, что он покинул нашу многострадальную страну и почивает на лаврах где-нибудь в уютном немецком городке.

Сегодня большая часть моих адресатов переместилась за рубеж, там они живут в достатке и спокойствии, у меня уже нет желания раскрываться перед ними. И вот, Господи, мне сегодня некому писать. Давно уже нет на земле моих родителей. Переписка с ними может составить много томов, но до чего же они будут скучны и однообразны эти тома. После окончания школы я жил в разлуке с моими родителями. Сначала институт, потом неведомый и пугающих их, бывший немецкий, город. Они не захотели сюда переезжать, для них эта область была непонятна и враждебна. Но родители любили меня, их интересовала моя жизнь, и они желали, чтобы эта жизнь была лучше той, что выпала на их долю, им хотелось гордиться своим сыном, рассказывать соседям о его успехах, читать его письма. Поэтому и письма шли им такие, какие хотелось им получать. Там не было в строчках ни грана сомнений, там перечисля-

лись только удачи. Упаси, Господи, чтобы в этих письмах я что-либо открыл перед ними, зачем расстраивать тех, кто произвел тебя на свет. Пусть верят, что у них родился почти гениальный сын, не знающий ошибок и поражений. За эти письма прости меня, Господи!

И еще прости за то, что не смог я быть рядом с родителями в их смертный час.

Так уж было дано тобой, а возможно, и ангелы внесли путаницу, родителям моим на старости лет вздумалось покинуть родной город, и не к сыну направить стопы свои, а совсем в другую сторону умчали их поезда, на восток, на Волгу. И там, на вершине горы, нависшей над железнодорожным вокзалом, обрели они свой покой на заросшем ежевикой старом кладбище.

Но почему не дано было им переместиться на небеса с легкостью, почему и отец и мать претерпели такие смертные муки? То ли хотел ты, чтобы добровольно запросили они об уходе, не выдержав боли и унижений, то ли забыл об их душах и продолжал держать эти души в телах, давно уже истративших свои жизненные соки. Такой же тяжелой смертью закончила жизнь моя бабушка, сколько помню ее — она задыхалась от мучительных болей и кричала по ночам так страшно, что я уже в школьном возрасте почувствовал мрачное дыхание смерти и свое бессилие перед ней.

И потом много раз я был свидетелем того, как умирали близкие мне люди и друзья, и очень редко им удавалось покинуть этот мир в одночасье, не испытывая смертных мук. Невыносимы были страдания двух моих товарищей по работе, тела которых съедал неумолимый и безжалостный рак. За несколько месяцев, ранее подвижные, полные жизненного задора, эти мои товарищи превратились в живые трупы. На долю им остались одни страдания, одна сжигающая невыносимая боль. Они никого уже не хотели видеть. Один из них, почти великан, недавно женившийся на самой красивой женщине из управления, так высох, что она легко могла переносить его на руках, глаза его поблекли, зрачки и роговица слились, взгляд был полностью отсутствующий. Он никого не хотел узнавать, никого не хотел видеть. Он не хотел даже видеть свою жену, но был не в силах оттолкнуть ее, и она распорядилась его телом, пытаясь пропихнуть в него пищу, которую давно уже отвергал сожженный болезнью желудок. Господи, за что такие мучения? Я не знаю, в чем таится твой

замысел? Возможно, все это чистилище или даже ад на земле... Но почему не самые худшие обречены на муки, почему испытуешь ты людей праведных, людей близких тебе по своим устремлениям... Господи, почему нельзя было внутри каждого из сынов человеческих завести генные часы, пусть не будем мы знать свое время, но клеткам нашим будет дана эта тайна, и когда закончится завод и придет наш час, все это будет совершено мгновенно. Я прошу тебя, Господи, за всех, прошу величайшей милости — мгновенной смерти и избавления от унижений тягостных для себя и для близких.

Прости, я нарушил зарок, ведь, когда я начал это письмо, мысленно я дал себе слово не просить тебя ни о чем. Ты все видишь и все знаешь сам. Когда я молюсь, когда обращаюсь к тебе утром или в середине суетного дня, или по ночам, когда лежу с закрытыми глазами и стараюсь осмыслить мир, во все эти часы я никогда еще ни о чем не просил тебя, Господи, я просто славлю твой разум и уповаю на него.

Мы, населившие землю, сами во многом виноваты. Сколько раз призывал ты — возлюбите ближнего своего, как самого себя, сколько раз твердил устами пророков: никогда не делай ближнему своему того, что не хотел бы, чтоб сделали тебе. Сколько раз призывали пророки к покаянию. Но не вижу я вокруг кающихся. Каждый считает, что виновен кто-то другой, а не сам он, конечно, непогрешимый, добрый и обманутый. Вожди виноваты, начальствующие виноваты, система виновата. А сам исполнитель, что он мог сделать? Виноватых среди исполнителей нет. Миллионы убиенных ждут отмщения, а судить некого. Уничтожены, превращены в лагерную пыль те, кто могли и должны были судить, лучшие взяты на небеса. Чтобы уничтожить сотни миллионов, надо было найти тысячи и сотни тысяч убийц. Не мне судить, но полагаю, Господи, если бы мне дали в руки смертоносное оружие и приказали — пли! в неизвестного мне, невинного, я отказался бы. Пусть бы изничтожили меня, но не замарался бы я кровью праведника. И не лучше ли убийц были те, кто одобрял эти убийства, кто думал — лишь бы не меня, покорно голосовал за годы тьмы и расстрелов. И ты взирал на это, Господи, и ждал. Может быть ты хотел, чтобы расстреливающие сами образумились, может быть, ты забыл, как дразнящ запах крови, как ненависть вызывает ненависть, как рождается вседозволенность. И уби-

вая себе подобных и разрушая твои алтари, они убивали себя. И я мог стать или палачом или жертвой, просто годы мои попали в иной период, и я благодарен тебе, Господи, что допустил ты меня в тварный мир в период, когда устали от войн и временно прекратили вселенскую бойню. Кровь, правда, продолжает литься, но уже не стало всеобщего одобрения этой крови.

Но прежние палачи доживают на обильных пенсиях, изображая из себя добрых дедушек. И ты на это все зришь, Господи... Ты терпелив, нам бы набраться твоего терпения. Перед тобой вечность. Что значит — сто лет? Мгновение. Ты знаешь срок прихода Мессии и тобой назначен срок Страшного Суда. Всему свое время. Но не закрывай уши свои, Господи...

Сколько приходится тебе выслушивать, сколько жалких мольб и оправданий, сколько завистливых кликов, сколько жалких потуг, изображающих благость и покаяние. Отличить наносное от истинного дано только тебе, Господи. Я же столько раз ошибался в людях, столько раз принимал за праведников лжепророков, что и не перечислить. И вот годы умудрили, казалось бы, меня, а я продолжаю ошибаться и наталкиваться на тех, кто с моей же помощью пролез наверх и за то, что обязан мне положением своим еще больше возненавидел меня. Аппетиты людские безмерны, власть завораживает, возможность распоряжаться людскими судьбами — вот что притягивает. Соперничать с Создателем, встать вровень с тобой, вот что надо нечестивцам. А те, кто молча содействуют жестоковыйным стяжателям, разве не торят они своей глупостью и раболепием пути к мракобесию?

Пала империя, разрушен охраняемый лагерь — ты дал нам право выбора, но опять первыми очнулись от поражения охранники, опять они сговорились с ворами в законе и растащили все лагерное добро, даже проволоку колючую продали, а те, кто смиренно молился и ждал, вновь как овцы в загоне. Власть не для праведников, она для паханов и бандитов. Разворовав все на земле и опоганив, они будут рваться в космос. Им, как всегда, мало власти, они хотят стать выше тебя, Господи. И тогда строятся Вавилонские башни.

Что остается делать тебе? Ждать их обманчивого ликования и разрушать. И наделять всех различными языками. Теперь они уже не сговорятся, не полезут. Впрочем, мог и не наделять разницей в

слове, все равно перессорились бы — а кто первый? Первый в космос, первый на Луну, первый на Марс, первый на свидание к тебе, Господи... Каждому придет свой час. Придет время Страшного суда. Спросится за все содеянное. Как хочу я в это верить, Господи.

Мы ждем Мессию. Заканчивается очередной век. Возможно, последний. Оживут ли все обитавшие на земле, не знаю. Богатеи и правители и здесь хотят урвать свое. Они спешно покупают места для захоронения у стен Святого города — здесь будут первые, кого призовет Мессия. Нам же, из Прибалтики, вряд ли добраться к шапочному разбору. Но души наши — душам ведь нет границ — души наши могут быть востребованы мгновенно. И зачем вершить тебе суд в одночасье? Суд каждого внутри него, в его собственной душе — и ты присутствуешь на этом суде, это твое право. Ты наказуешь нас и детей наших, и их детей. И через детей наказуешь родителей. Дети стремятся туда, где ты заключил завет с народом, где была твоя обитель — в центре земли, к жертвенному камню, скрытому куполом мечети. Туда, где кровавый газават повис над синевой небес.

Может быть они хотят принести себя в жертву. А пока жертвами становятся те, кто породил их. Мы остаемся одни, растерявшие друзей, родителей, остаемся в завоеванном городе, отданном за миллионы исчезнувших в муках. Выжившим платят потомки палачей. Три тысячи марок за то, что остался живым. Тридцать Серебрянников. Сыну этих денег не положено. Он родился, когда перестали убивать в лагерях смерти. Смерть стала не массовой, а единичной. Его товарища — красавца-силача оменовцы забили до смерти. Профиль сына, его поступки, всегда раздражали блюстителей порядка. Может быть, он бежит от них. Я ему не судья. Все в твоих руках, Господи. Может быть, через него ты хочешь выразить свою волю. Не знаю. Ты посылаешь какие-то сигналы в мои сны, я не научился их разгадывать. В одном из снов мне упорно подсовывали нож, я был в совершенно безвыходном положении. Я ютился с женой в грязном подвале, постель на полу, запахи нечистот, и сын — во главе шпаны, мне предстояло защитить от него его же мать, мою жену, и она кричала на меня и упрекала в трусости. Она была права, я никогда не смогу поднять руку на сына. Даже если ты, Господи, прикажешь мне, как приказал Аврааму — прародителю нашему, и тот покорно повел своего единственного к горе Мориа, повел, заранее наточив

нож. Зачем ты так жестоко испытывал его? Он ведь был предан тебе, предан всей душой, не так, как мы, ищущие оправданий.

Он был один среди пустыни, он не мог понять, откуда происходит гром, отчего сверкает молния, кто посылает дождь, почему так сладко ему, когда входит он в женщину, данную ему в жены.

На все вопросы он ждал твоих ответов. Между ним и мной годы крови и годы любви, годы урожаев и годы страшного голода. Я вооружен опытом всех предшествующих поколений. И все равно я знаю то, что я ничего не знаю. Я уповаю на тебя, Господи! Я счастлив, что мы неразделимы, что во мне ты всегда, также как в любом другом, также как в каждой травинке, в каждом вздохе и шорохе... И разум твой объединяет то, что не дано мне понять, я лишь один из мелких суетных зарядов в бесконечной системе мироздания.

Благословен же ты в высях и на земле, и под землей, и везде, где растекается твоя благодать. Через тебя я ощущаю связь со всем сущим, со всеми, кто жил и еще будет жить на земле.

Услышь меня, Господи, взывали к тебе не раз. На то твоя воля — услышать или прочесть, как хочешь. Я мог бы отправить это письмо на Святую землю, чтобы положили его в расщелины среди камней в Стене плача, я мог бы отправить это письмо до востребования, мог бы сжечь, превратив слова в пепел, но зачем? Ведь ты уже прочел его прежде, чем я поставил точку.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Пути паромов..... | 3 |
| Велосипед сорок первого года..... | 25 |
| Игры прошлых лет..... | 34 |
| Вавилон..... | 39 |
| Возвращение..... | 61 |
| Анкетные данные..... | 81 |
| Сирена..... | 98 |
| Выпустивший Джека..... | 104 |
| Последний рейс..... | 109 |
| Туман в Ниде..... | 125 |
| Признание..... | 129 |
| Письмо для Бога..... | 142 |

Олег Глушкин. Пути паромов. Рассказы.

Региональная общественная организация писателей

Калининградской области.

236000 Калининград, Советский пр. 13.

Тел. (0112)21-55-83

Отпечатано с представленного автором оригинал-макета.

Тираж 1000 экз. _____ Подписано в печать _____

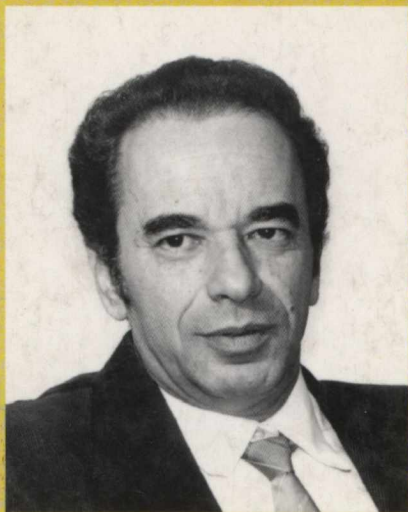
Формат 60x88 1/16 Бумага офсетная

Условных печатных листов _____

Условных издательских листов _____

Типография Гутграф _____

Ц, 20р



Олег Борисович Глушкин

Родился в 1937 году, в городе Великие Луки, отсюда в начале войны была спасительная эвакуация на Урал, а в 1944 году возврат в разрушенный до основания город. После окончания ленинградского кораблестроительного института приехал в 1960 году в Калининград. Долгое время работал в рыбной промышленности. Книги его на морскую и историческую тематику выпущены в местном издательстве и в Москве. Рассказы и эссе, входящие в данную книгу, печатались в журналах «Запад России», «Боруссия» (на польском языке), «Балтия» (на литовском языке), отдельным изданием публикуются впервые.

ISBN 5-901194-02-0



9 795901 194026